

Владимир Верещагин

**Из далекого
прошлого**

ВОСПОМИНАНИЯ

Париж

1969

ВЛАДИМИР ВЕРЕЩАГИН

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

(Воспоминания)

П а р и ж

1968 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Детств — Семья — Книги отца	5
Начало ученья	11
Смольный Институт	13
Дядя В. В. — художник	16
Две встречи	23
Рождественская быль — Л. Н. Толстой . . .	25
В доме Куропаткиных	31
Генерал Церпицкий	33
Пажеский Корпус	41
В Болгарии	52
Подарок Государя	58
Среди артистов и литераторов	59
Шаляпин — Патти — Лина Кавальери . . .	64
В гостях у Репина	73
Статс-секретарь А. А. Половцев	76
«Среды» у барона Н. В. Дризен	79
Первые сценические шаги — Н. Н. Фигнер	81
Великая война — Военная цензура	87
Красный Крест — Поездка на фронт . . .	88
Во время революции	96
В Казанском Соборе	98
Дом Литераторов — Клубы — Слепое счастье	100
Оперы и концерты	107
Обер-гофмаршал граф Бенкендорф	103
Морской министр адмирал Григорович . . .	110
Отъезд жены за границу	111
Рулетка в Москве	112
Паспорт и визы	118
Отъезд из Москвы	121
На пароходе — Таможня — Кронштадт . . .	123

**Марии Николаевне
Верещагиной
моей жене и другу**

«От Автора»

С малых лет, как в доме моего отца, так и в своей самостоятельной жизни, я был свидетелем многих событий и встречал не мало интересных и знаменитых людей.

Прожив долгую жизнь, я, обладая хорошей памятью, по мере сил и способностей постарался рассказать правдиво и без прикрас, все виденное и слышанное мною.

Мне хотелось бы, что прочитав дореволюционную часть этой книги, люди моего поколения с грустью вздохнули бы, вспоминая доброе старое время, а более молодой читатель узнал бы ближе жизнь милого старого Петербурга.

ДЕТСТВО

Я родился в Петербурге 14 октября 1888 года, в год 900-летия Крещения Руси, а потому и назван Владимиром.

14 октября, по удивительной случайности, родился мой дед, отец моего отца, и также и дядя мой Вас. Вас. Верещагин, знаменитый русский художник. Три поколения.

У моих родителей, кроме меня, были еще дети: сестра Ольга, старше меня на 3 года, и младший брат Василий.

Теперь, вспоминая свои годы, проведенные под крылышком горячо любящих и безгранично баловавших нас родителей, все мое сердце наполняется благодарностью и нежностью к моим дорогим.

Трудно было найти семьи более чистой и дружной, чем наша, и я не запомню ни ссор, ни скандалов, ни обид.

Отец и мать, оба ушли в нас, в детей, отдавая всю душу и силы, чтобы поставить нас на ноги.

Мама, хорошая музыкантша, вселила нам с раннего возраста любовь к музыке и мой брат, впоследствии серьезный музыкант и композитор (уч. Глазунова), уже на руках кормилицы приходил в волнение при звуках рояля, когда за него садилась мама. Когда же он подрос и мог дотянуться до

клавиш, его не оторвать было от рояля: все что-то выстукивал своими крохотными пальчиками.

Я увлекался пением.

Как сейчас помню, мне лет 7 - 8, брату 5. Гувернантка на смех сшила мне фрак из черной марли. Брат садится за рояль, а я, свернув трубочкой ноты, становлюсь в важную позу, подражая певцу, певшему у нас накануне на вечере.

Для нашего здоровья отец купил дачу в гор. Луге под Петербургом, где мы и прожили безвыездно почти 5 лет. Все раннее детство.

Отец был военный по душе. Участвовал в Турецкой войне, сделал Ахал-Текинский поход со Скобелевым, которого любил и которому поклонялся до конца своих дней.

После смерти Белого Генерала, не желал тянуть скучную военную лямку, вышел в отставку, женился на моей матери, Ольге Ивановне Старицкой, и весь ушел в семью.

Хлебосол он был великий да и сам любил поесть и редко, когда за стол садились одни, а то всегда бывало несколько человек гостей.

Подавали все особенное, а для поросят, кулебяк и аршинных стерлядей заказывались особые огромные протвيني и доски, которые завертывались в белоснежные салфетки.

Был также мой отец любителем и знатоком русской старины. Обладал, что называется «нюхом». Чего-чего только не перебывало у нас в доме: драгоценные женские уборы, найденные в курганах, особые замки времен Ивана Грозного,

Елисаветинские эмали, фарфор и много-много различных произведений искусства.

Однажды, проезжая мимо домика в селе Карачанском, где когда-то жил Суворов, отец заглянул к старичку управляющему узнать нельзя ли что-либо достать на память о великом полководце.

Древний старичок был глуховат, с трудом отец объяснил ему цель своего приезда.

— Да что, батюшка, Ваше благородие, вот приезжали тут господа из Петербурга да почитай все и отобрали для «музеи». Разве, что еще осталось на чердаке.

Отец полез под крышу. Там, среди хлама и пыли, в углу стоял темный засиженный мухами портрет самого Суворова.

Не найдя ничего другого, отец просил уступить ему его, на что, получив золотой, старый ветеран с радостью согласился.

В Петербурге портрет увидел В. В. Стасов и схватился за голову.

Это оказался исчезнувший и давно разыскиваемый портрет работы знаменитого того времени художника Шмидта.

Приведя портрет в порядок, отец свез его к тогдашнему военному министру Ванновскому. Тот доложил Государю.

Отца вызвали во дворец, где он имел счастье преподнести портрет Государю Николаю Второму.

Государь был чрезвычайно доволен, приказал повесить у себя над письменным столом, а также сделать репродукции с портрета и роздать по всем полкам Российской армии.

КИТАЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В 1900 году, во время Боксерского восстания, отец по службе был командирован в Китай. Там свое свободное время он посвятил разыскиванию и покупке всевозможных китайских древностей.

Несколько раз моя мать переводила ему из Петербурга солидные суммы денег.

Это дало возможность отцу собрать большую и великолепную коллекцию и, тщательно упаковав ее, привести с собой в Россию.

Целый штат востоковедов из Академий Наук и Художеств занимался ее сортировкой и составлением каталога.

Чего-чего там только не было. Громадные бронзовые с драконами вазы-курильницы насчитывали более 3-х тысяч лет до Р. Х. Древнейший весь изъеденный временем фарфор. Драгоценные золотые и эмалевые украшения и целый ассортимент всевозможных китайских божков, из которых некоторые были из чистого золота.

Особенно памятни мне два предмета: глыба из прозрачного темно-зеленого нефрита, вся изрезанная тончайшими рисунками. Весу в ней было более 1 пуда.

Нефрит считается камнем чрезвычайно твердым и очень трудным для обработки.

Насчитывалось этому нефриту несколько тысяч лет и над ним потрудились не одно поколение.

Второе, это пять чашечек с блюдечками из черного лака. Живописные сцены на них были изобра-

жены мелкими драгоценными камнями. Деревья — изумрудами, реки — сапфирами и т. д.

Чашечки были бесценны.

Всего в коллекции было более 800 предметов.

Музеи Англии и Америки пытались приобрести ее у отца. Но отец не соглашался. Ему страшно хотелось не выпускать коллекцию за границу, а сохранить для России.

Но дело шло медленно. То не сходились в цене, то у музеев не было свободных денег.

Видя всю тщетность своих хлопот, отец решил взять, как говорится, быка за рога.

Председателем Совета Министров был в то время С. Ю. Витте. Отец поехал к нему.

Через несколько дней, рано утром, по телефону дали знать, что министр сейчас будет у нас для осмотра коллекции.

Объяснения давал сам отец.

Витте, очень высокий, худой, в длинном наглухо застегнутом черном сюртуке, внимательно слушал объяснения отца и с интересом во все вникал.

На прощание просит дать ему каталог и обещает завтра же доложить обо всем Государю.

Через несколько дней, по Высочайшему повелению, вся коллекция была приобретена для Русского Музея Императора Александра Третьяго за 200 тысяч рублей.

—o—O—o—

В начале 90-х годов, вернувшись из заграницы, где он помогал брату своему художнику по устройству выставок картин, мой отец задумал писать свои воспоминания.

На этом сильно настаивал его друг Вл. Вас. Стасов.

Первые опыты оказались настолько удачными, что были помещены отдельными главами в популярном тогда журнале «Вестнике Европы». Издавал его М. М. Стасюлевич.

Успех рос с каждым днем и, когда книга «Дома и на войне» появилась на свет, то первые три издания были раскуплены немедленно.

Отзывы газет были превосходны.

Знаменитый стратег и военный историк генерал Драгомиров в одной из своих критик писал, что: «Александр Верещагин так же мастерски владеет пером, как его брат Василий — кистью».

Все это создавало много шума и отец сразу стал в ряды популярнейших писателей того времени.

Вслед за первой книгой вышла и вторая — «У болгар и за границей», имевшая неменьший успех.

Литературную деятельность отец продолжал до конца своих дней и написал еще несколько книг.

Все они переведены на многие иностранные языки.

Перед изданием своей книги «Дома и на Войне», мой отец, по совету В. В. Стасова, ездил в Москву к Л. Н. Толстому читать выдержки из своих воспоминаний.

В своем письме к В. В. Стасову великий писа-

тель пишет: «Вы не ошиблись о Верещагине. Это именно тот художественный историк войны, которого не было — поэтический и правдивый. Очень бы желал, чтобы книга эта была напечатана. Он мне очень, очень понравился. Это не художник, а лучше, — трезвый, умный и правдивый человек, который много пережил и умеет рассказать хорошо то, и только то, что он видел и чувствовал; а это ужасно редко.

Благодарю Вас за Верещагина. Ваш Л. Толстой».

Напечатано это в 63-м томе полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (1934 г.), стр. 144-ая.

НАЧАЛО УЧЕНИЯ

В 900-х годах военным министром был назначен старый боевой товарищ моего отца: генерал Куропаткин.

Он предложил моему отцу опять поступить на военную службу штаб-офицером и состоять в его распоряжении.

В нашей семье это было важным событием особенно для нас, детей, привыкших видеть отца в длинных штатских сюртуках, а частенько и в халате.

Время совпало с нашим учением, а потому было решено переехать в Петербург.

Прощай золотое детство и беззаботные игры.

В Петербурге мы поселились на Лиговке, поближе к 3-му Реальному училищу, куда в подготовительный класс меня и определили.

Сначала провожала меня горничная, а когда я

попривык к столичной жизни, бегал в училище один.

Директором там был Александр Карлович Рихтер, и хотя еще только статский советник, но требовавший, чтобы его величали «Ваше Превосходительство».

Это было совершенное чудище. Все училище от учителей, учеников и сторожей ходило по струнке. Бегать, играть во время перемен было строжайше воспрещено, а заставляли маршировать, как солдат. Ровно в 12 часов стройной колоной спускались в столовую, где в оловянных кружках был приготовлен чай. Бутерброды и сахар ученики должны были приносить с собой.

Доктором мне было прописано пить молоко и меня дома снабдили бутылочкой, которая грозным директором была у меня немедленно отобрана и приказано пить чай.

Когда моя мать пошла объясняться, то «Его Превосходительство» важно заявил, что допустить этого он никак не может, т. к. это нарушает «дисциплину»!

Надо ли говорить, что меня немедленно изъяли из такого «оригинального заведения» и перевели в частную гимназию Гуревича, тут же на Песках.

Гимназия эта принадлежала известному педагогу и профессору Якову Григорьевичу Гуревичу, уже настоящему «Ваше Превосходительство».

Маленький, толстый, с седыми бачками и с вечной сигарой оврту, крикун он был отчаянный и так порой увлекался, что кричал на своего соб-

ственного сына, ученика 6-го класса, угрожая, «как окурок сигары», выкинуть его из училища.

Но был весьма добрый старик и его никто не боялся.

Сестра моя Ольга воспитывалась в Смольном институте — по тогдашнему Императорское Воспитательное Общество для благородных девиц. Институтки были все живущими и отпускали их только на летние каникулы да на праздники Рождества и Пасхи, и потому помню, сколько горьких слез было пролито моей сестренкой перед ее отъездом в институт.

По воскресным дням и по четвергам мы всей семьей ездили к ней на свидание. Заготавлилась огромная корзина только со сладостями и фруктами, ибо было строжайше запрещено привозить что-либо съестное (пирожки, котлеты и пр.), дабы не умалять достоинства институтской кухни (кстати сказать, весьма и весьма посредственной).

С корзинкой садились в карету, что бывало довольно редко, так как вечно то хромала одна из лошадей, то кучер был пьян, а чаще всего влезали в конку и тряслись до самого Смольного по Слоновой, тогда еще так называвшейся улице — впоследствии Суворовский проспект.

Конка была полна мамашами, папашами, тетушками и бабушками, спешившими на свидание с дочками, племянницами и внучками и в шутку называлась — «родительский ковчег».

У входа в зал две чопорные классные дамы в синих форменных платьях. «Синявки», как называли их институтки, спрашивали вашу фамилию,

степень родства и затем, если все благополучно, благосклонно допускали в приемный зал... Огромный, весь белый с колоннами и с портретами во весь рост царей и цариц по стенам, он производил грандиозное впечатление. Народу много и, хотя разговаривают вполголоса, но шум стоит великий.

Но вот, уведомленная о нашем приходе, взволнованная и радостная, подлетает сестра, и тогда поцелуям нет конца.

С оглядкой, из-под мамашиних мантилий и из сумочек вытаскиваются то пирожок, то котлетка, а то и целая куриная ножка.

В 3 ч. звонок. Прием кончен. С глазами, полными слез, провожают «институтские пленницы» своих дорогих и близких до самых дверей и долго с грустью смотрят им вслед.

Иногда в институте устраивались концерты, на которых выступали известные артисты, и блестящие балы с приглашаемыми для танцев пажами, лицеистами, правоведами и юнкерами. Классные дамы строго следили за своими воспитанницами, чтобы, не дай Бог, какая-нибудь из них не протанцевала два раза с одним и тем же кавалером. Так старые девы боялись романтических историй.

По молодости лет на бал меня не пускали, но на одном из концертов мне удалось побывать.

Перед высокой эстрадой поместились приглашенные, а вокруг нее цветником, в своих красных, синих и зеленых платьях с белыми пелеринками и в таких же передничках, в прюнелевых туфельках, расселись все институтки. Картина была незабываемая по своему очарованию.

В концерте, как сейчас помню, выступала со своей арфой ученица старшего класса Эрдели, ставшая впоследствии известной артисткой, и знаменитая чета Фигнеров.

На этих вечерах всегда присутствовал почетный опекун смолянок, престарелый генерал-адъютант гр. Протасов-Бахметьев, длинный, худой, в седом паричке.

Не могу не упомянуть про забавное происшествие, случившееся со мной в институте. Мальчиком я был довольно самостоятельным и вот, в одно прекрасное утро, ничего не сказав дома, отправился в институт повидать сестру. Прошмыгнув незаметно мимо старого швейцара, дремавшего с газетой в кресле, я поднялся на второй этаж и сразу столкнулся с самой инспектрисой, баронессой Гриппенберг и двумя «синявками». Галантно перед ними расшаркавшись и припав к баронессовой ручке, я заявил, что хотел бы повидать мою сестру Лелю Верещагину.

— Это совершенно невозможно, — сказала баронесса, и окинув меня подозрительным взглядом, спросила:

— А почему вы, молодой человек, не в гимназии, а гуляете?

— А нас распустили. У нас в училище «свинка», — выпалил я.

Боже ты мой, что случилось с моими дамами! Как они всполошились, закудахтали, бросились врассыпную и закричали:

— Вон, вон, скорее вон отсюда, скверный мальчишка!

Кубарем скатился я по лестнице мимо изумленного швейцара, проснувшегося от столь необычной наверху суматохи.

Через два дня дома было получено грозное письмо от начальницы института, светлейшей княжны Ливен, с жалобой на меня.

Отец ездил извиняться, а мне задал жестокую головоломку.

—о-О-о—

ДЯДЯ МОЙ, ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРЕЩАГИН

Дядю своего, художника, я увидел впервые, когда мне было десять лет.

Живал он постоянно в Париже и Мюнхене, где работал в своих мастерских, либо путешествовал в далеких краях Индии и Кавказа, редко навещаясь в Петербург.

Как то утром отец повел меня и младшего брата Василия в Северную гостиницу, что у Николаевского вокзала, где остановился приехавший из Москвы дядя.

Хотя было еще очень рано, но дядя по своей привычке уже давно встал и пил чай за большим самоваром. Встретил он нас ласково и всех крепко расцеловал.

Дядя высокого роста, плотный, совершенно лысый, с большой седой бородой. Острые глаза его так и проникали в душу. Ходил он постоянно в синей наглухо застегнутой тужурке с Георгиевским крестом в петлице. Зимой, в сильные морозы, дядя

надевал на серых мерлушках полушубок и такую же шапку, а свою длинную бороду прятал под воротник.



В этот год съехались в Петербург четыре брата отца для раздела родового имения в Череповецком уезде.

Старший из них, Николай Васильевич, ближайший друг Менделеева, посвятил себя сельскому хозяйству и впервые ввел в России производство сыров в своих сыроварнях Тверской губернии.

Двое других дядей жили в провинции в своих имениях. Все они собирались у нас в квартире на Знаменской, и, бывало, я целый вечер слушал их нескончаемые беседы, полные интереснейших воспоминаний. Но особенно образно и увлекательно рассказывал дядя-художник.

По молодости лет, из его рассказов мне понравился один весьма забавный.

Живя под Москвой, понадобилось дяде купить тарантас. Отправился он к знакомому старичку каретнику. Тот с почтением его встречает и торопится показать свои лучшие экипажи. Выбрал себе дядя подходящий тарантас и начинают они торговаться. Старик просит 70 рублей, дядя дает — 60. Торговались они долго. Наконец, дядя рассердился и уходит со двора. Боясь упустить покупателя, старик бежит за ним и кричит ему вслед:

«Ну, ладно! Бери, Василь Василич за 60, а уже десятку дошлешь картинками».

Нрава дядя был крутого и характером обладал

весьма строптивым. За это многие его надолго любили и побаивались.

В мире же художников Верещагин стоял совершенно особняком. В совместных выставках участвовал редко, и был врагом всяких праздных знакомств и приятельств.

**
*

Окончив в 1860 г. первым Морской Корпус и произведенный в офицеры, он, не чувствуя никакого призвания к морской службе, против воли родителей, отказался от блестящей карьеры и вышел в отставку, твердо решив стать художником.

Несокрушимой силы воли и громадной энергии, он почти всю свою жизнь провел в походах, участвуя в атаках, штурмах и кавалерийских набегах. А своей безграничной храбростью и отвагой он еще в юные годы, за защиту Самарканда заслужил Георгиевский крест, которым гордился и всегда носил.

**
*

Все его картины были ярким отражением лично виденного и пережитого. В них Верещагин изображал войну так, как она никогда до него еще не изображалась никем из баталистов: впервые на его полотнах появились не театральные фигуры полководцев, а картины страданий и героизма русского солдата.

1879-91 г.г. — годы больших европейских и американских выставок (Лондон, Париж, Вена, Берлин, Будапешт, Брюссель, Прага, Стокгольм,

Амстердам, Нью-Йорк, Чикаго), на которых Верещагин завоевал мировую известность.

В 1868 г. после Туркестанской войны он сделал выставку своих картин в Петербурге. В самый разгар выставки Государь пожелал видеть картины у себя в Зимнем Дворце. Объявили в газетах о перерыве, и затем, в назначенный день, явилась рота великанов Преображенцев, и как есть в рамах перенесла картины во дворец, где, в присутствии самого художника, их осматривал Александр II.

Среди картин находилась одна, на которой был изображен «Забытый» на поле сражения тяжело раненый солдат. Лежал он на спине, раскинув руки, и с ужасом глядел, как стая черных воронов со зловещим криком кружилась над ним. Вдали виднелся удалявшийся фургон Красного Креста. Картина потрясла своей силой.

Государь долго стоял перед ней, грустно качая головой, затем, обращаясь к стоявшему в свите Кауфману, бывшему во время войны начальником Красного Креста, укоризненно сказал:

— Как же это могло у тебя случиться?

» Ваше Величества, — ответил тот, — это просто фантазия художника.

На гордого и самолюбивого Верещагина этот случай произвел крайне тяжелое впечатление и он был долго нервно болен, картину же он уничтожил.

О случившемся скоро узнала вся Россия и фотографы не успевали печатать фотографии «Забытого».

Известно, что Мусоргский, на слова поэта графа Голенищева-Кутузова «Забытый» написал прекрасную балладу.

**
*

В 900-ых годах дядя поселился в небольшой усадьбе под Москвой вместе с женой и тремя детьми и зажил настоящим затворником, никого к себе не пуская.

Не признающий безделья, он никогда не сидел сложа руки, и в часы отдыха, то писал свои воспоминания, то копался в саду, а то принимался сам месить и раскатывать тесто для пирогов и ватрушек, до которых был большой охотник.

В доме у него была огромная мастерская, где он и закончил всю серию больших картин 1812 г.

Выносливости дядя был удивительной. Работая над Наполеоновской эпопеей, он часами высиживал на тридцатиградусном морозе, выписывая оконечнейшей от холода рукой, заиндивелые деревья Смоленской дороги — пути отступления Великой армии.

В творчестве своем он был фанатично реален, не допуская фантазии в малейших деталях. Как пример, приведу случай, рассказанный мне его вдовой Лидией Васильевной.

«Работал как-то Василий Васильевич у себя в мастерской. К обеду выходит сумрачный и, обращаясь ко мне говорит: «Приготовь мне чемодан. Еду сегодня вечером в Париж. Надо в военный музей: не помню точно, какие орлы на пуговицах у Наполеона».

Когда в 1904 году началась Японская война, дядя не утерпел и поехал в действующую армию.

Последний день в Петербурге, перед отъездом в Москву, он провел у нас.

Как сейчас вижу его сидящим за столом в кабинете отца. Он что-то рассказывал, играя карандашом. Я стою рядом: «Дядя Вася, милый! Ну, нарисуй мне что-нибудь на память», пристаю к нему и подсовываю листок бумаги. Дядя берет карандаш и быстро набрасывает голову туркмена в чалме.

После обеда вся наша семья провожала его на вокзал. Я был сильно простужен, не выходил и, к великому моему огорчению, оставался дома. Все сошли вниз, вдруг слышу звонок, а затем и голос дяди:

— Где Володя, я с ним плохо простился. — Крепко меня обняв, дядя быстро ушел.

**

Одновременно с ним в сибирском экспрессе ехал вновь назначенный командующим Дальневосточным флотом — адмирал Макаров. Как товарищ Верещагина по Морскому корпусу, он уговорил его и следовавшего на театр военных действий вел. кн. Кирилла Владимировича ехать с ним в Порт-Артур.

Участие в морских сражениях и возможность зарисовок захватили всего Верещагина.

По приезде в Порт-Артур, он налегке, с рисовальным альбомом и ящиком с красками пере-

брался на адмиральский корабль, где ему была отведена отдельная каюта, и редко съезжал на берег.

Уже здесь в Париже генерал Гурко поделился со мной своими воспоминаниями о том, как Верещагин невольно спас ему жизнь.

«30 марта ночевали мы с Вас. Вас. в Порт-Артуре в одной гостинице. Я был также приглашен на завтра адмиралом на корабль и с вечера заказал извозчика, которых в городе было очень мало, приехать за мной. Еще чуть светало, когда вестовой мне доложил, что извозчик ждет у подъезда. Выглянув в окошко я увидел отъезжавшего от дома на моем извозчике Верещагина.

«Стой! Стой! — закричал я.

Верещагин обернулся, помахал рукой и крикнул:

«Спешу! Мне нужнее».

Когда я приехал на пристань, корабль уже ушел».

По рассказу, чудесно спасшегося, Вел. Кн. Кирилла Владимировича, на рассвете 31-го марта эскадренный броненосец «Петропавловск» под вымпелом командующего эскадрой вышел в море.

«На палубе стояли адмирал Макаров, я и Верещагин, в сером полушубке с Георгиевским крестом в петлице. Ничто не предвещало катастрофы. Мы мирно разговаривали. Зазвонил телефон, и подбежавший офицер доложил адмиралу о появлении на горизонте японского флота. Адмирал пошел отдавать приказания, я остался стоять, а Верещагин сказав: «Надо взять альбом», спустился

в каюту. В этот момент страшный взрыв потряс весь корабль и он сразу стал принимать вертикальное положение. Около меня матросы посыпались с палубы в воду. Я ухватился за мачту, но следующим более сильным взрывом был выброшен в море, в страшный водоворот от опускавшегося на дно, переломившегося пополам «Петропавловска».

**
*

Море отомстило Верещагину за его измену. Не любил он его, всю жизнь избегал, и погиб в его пучине.

—o-O-o—

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Мой отец, близкий друг и боевой товарищ Скобелева, состоял при нем и во время Турецкой войны 77-78 г.г., и в Ахал-Текинской экспедиции. Причисленный к казачьей бригаде, отец носил черкеску и папаху. Выйдя в запас полковником, сменил их на штатское платье.

В самом начале девяностых годов вся наша семья жила в небольшой усадьбе около города Луги, где нас постоянно навещали друзья и бывшие сослуживцы отца. Однажды один из них привез мне, пятилетнему мальчику, в подарок шитую на мой рост белую черкеску, белую папаху и игрушечный кинжал. Восторгу моему не было границ.

Как то летом нам сообщили, что завтра рано утром будет проезжать из заграницы император Александр III. Надев черкеску и все ордена, и взяв с собой меня, «юного казака», отец отправился на вокзал. Было уже жарко, когда подошел царский поезд. Из-за раннего времени все в нем крепко спали.

Неожиданно из одного вагона выскочили двое конвойных гвардейцев, а за ними показался государь в серой тужурке и в фуражке. Спустившись по подставленной лесенке, он стал прогуливаться по платформе. Заметив отца, которого помнил по Турецкой войне, Государь подозвал его к себе.

Взяв меня за руку, отец подошел. Государь сказал ему несколько любезных слов, а меня ласково потрепал по щеке. В это время, держа руку под козырек, подбежал начальник станции и почтительно доложил, что все готово «к дал:нейшему следованию». Простившись с нами, государь поддерживаемый конвойцами, поднялся в свой вагон.

Поезд тихо тронулся.



Был теплый мартовский день, когда часов в одиннадцать утра нянюшка повела меня гулять по солнечной стороне Невского проспекта.

На углу Караванной улицы, напротив Аничкова дворца, где на двух углах стояли на тумбах каменные львы, нянька вдруг закричала: «Государь!.. Государь!..» и, схватив меня подмышки, посадила на спину ближайшего льва.

И я увидел пару вороных, запряженных в сани

и покрытых по тогдашней моде зеленой сеткой, кучера с медалями на груди и затем грузную фигуру царя в сером пальто с красными отворотами и большую русую бороду. Пальцем левой руки в белой перчатке он держался за кушак кучера. Справа в санях виднелась маленькая фигурка государыни Марии Федоровны.

Полиция остановила движение. Прохожие кланялись и кричали «ура»!

Сани медленно пересекли Невский и въехали в широкие ворота дворца.



Почти 75 лет прошло с тех пор, но эти две знаменательные для меня встречи и сейчас стоят перед моими глазами.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЫЛЬ

Петербург начала девятисотых годов.

Вижу себя пятилетним мальчиком, в Сочельник под Рождество, в большой передней гостеприимного дома сенатора А. М. Кузьминского.

Хозяйка дома, Татьяна Андреевна, сестра Софии Андреевны Толстой и приятельница моей матери, среднего роста, стройная, с живыми глазами, с которой, как говорят, Лев Николаевич писал Наташу Ростову, вместе с младшим сыном, а моим

другом Митей, стоят возле и помогают моей гувернантке раздевать меня.

На дворе сильный мороз, и, отпуская в «гости», меня поверх тулупчика и башлыка еще крепко обвязали маминым оренбургским платком.

Пока меня «раскутывают» звонит звонок.

Степенный лакей отворяет дверь, и я вижу на пороге настоящего «Деда Мороза».

Большая борода, усы и брови заиндивели от холода.

Я стою, как зачарованный не в силах оторвать глаз от чудесного видения.

Но вот призрак оживает, быстро сбрасывает с себя запорошенную снегом шубу, скидывает высокие серые валенки и, обтерев платком лицо, дружески обнимается с радостно приветствующей его хозяйкой.

— А это чей же бутуз? — спрашивает он, подходя ко мне и беря пальцем меня за подбородок.

— Я — Володя Верещагин, — храбро отвечаю я.

— Сын Василия Васильевича, художника?

— Нет. Мой папа военный и пишет книги.

— А, знаю, знаю. Я знаком с твоим папой. Он был у нас в Москве. Ну, скажи ему, что дедушка Толстой кланяется.

Взяв под руку Татьяну Андреевну, «бородатый дедушка» направляется в гостиную, куда скоро позвали и нас, детей, — под громадную елку, всю залитую огнями и блестящими украшениями.

После раздачи подарков и танцев под рояль милой Татьяны Андреевны, шая и бегая по всей квартире, я раскатился на блестящем паркете к самому креслу, где сидел Лев Николаевич, окруженный гостями и всей многочисленной семьей

Кузьминских. Он поймал меня и поставив перед собой между колен, стал гладить по голове.

Помню его мягкие руки, широкое улыбающееся лицо и глаза, ласково на меня глядевшие из-под густых нависших бровей.

Он что-то рассказывал, и все со вниманием его слушали, но, увы, по «молодости лет», я не запомнил тех слов и все искал удобного случая поскорее ускользнуть из крепко сжимавших меня колен. Наконец, мне это удалось и я радостно побежал в детскую, где меня ждали Митя и чудесные оловянные солдатики.

Давно, очень давно это было, а в ушах все еще звучит ласковый голос, и образ старика, с заиндивевшей от мороза бородой, кажется мне теперь настоящей рождественской сказкой.



ПАСХА В ПЕТЕРБУРГЕ

По издревле установленному обычаю вся наша стемья говела на Страстной неделе.

Отец, мать, маленький брат, я и старшая сестра, отпущенная на пасхальные каникулы из Смольного Института.

Ходили мы в церковь при Управлении Уделов *) на Литейном проспекте, в одну из трех домовых церквей, куда пускали только по именным билетам и с большим разбором. Другие две были: одна при Главном Почтамте и третья на Кирочной

*) Уделы — отделение Министерства Двора по управлению землями, принадлежавшими царской семье.

улице, где служил популярный протопресвитер Желобовский.

Родители строго следили за нами — детьми — и требовали точного исполнения всех церковных правил. Запрещалось в среду, после вечерней исповеди, пить и есть до самого причастия.

Для меня самым страшным была исповедь. Старик священник был сердит и придирчив, и я, зная это еще с прошлого года и тщательно вспоминая все свои грехи, вольные и невольные, изыскивал способ все-таки скрыть самые «тяжелые». Но святой отец был неумолим и, после долгих натаций и разносов, я чуть живой вылетал из исповедальни.

В четверг, после причастия, возвращались домой, пили чай с красным вином и просфорами и только потом садились за постный завтрак.

В пятницу варилась пасха, пеклись куличи и красились яйца, а в субботу с утра шли приготовления к Заутрене.

Гладились вечерние платья мамы и сестры, а у меня — одиннадцатилетнего гимназистика, была одна забота и волнение: принесет ли во время портной заказанные ему для меня брюки с первыми долгожданными штрипками?..

Но вот все готовы. Мама и сестра в светлых платьях, папа в мундире с эполетами, со звездой и с красной лентой через плечо. Садимся все в карету и едем в церковь.

По широкой, устланной мягким зеленым ковром, лестнице поднимаемся на второй этаж, где у контроля билетов, окруженный чиновниками, стоит управляющий канцелярией, милейший камергер

Панчулидзе, и проходим уже в переполненные церковные залы.

Дамы в вечерних туалетах, сановники в расшитых золотом придворных мундирах, кавалергарды, конногвардейцы, гусары в парадных формах, пажи, лицеисты, правоведы, все с зажженными свечами — волшебная, незабываемая сказка навсегда ушедшего, потонувшего мира...

Шелестя хоругвями, медленно движется крестный ход, во главе с клиром, чудесным хором и начальником Уделов, князем В. С. Кочубеем, и ликующе и радостно несетя благая весть:

Христос Воскресе! Христос Воскресе!

ПОЛКОВНИК МАРШАН

герой ФАШОДЫ

В 1901 году, после Боксерского восстания, мой отец возвращался из Китая, одновременно сопровождая французского полковника Маршана, знаменитого героя Фашоды.

После военных действий в Китае, Маршан проездом во Францию ехал в Петербург представиться Государю Императору.

Через несколько дней после его приезда у нас состоялся большой обед.

Героем вечера был конечно полковник, со своими двумя адъютантами.

Маршан среднего роста брюнет. Острая черная бородка, орлиный нос, живые умные глаза. На лице налет загара — следы долгой службы в Африке и Индии.

Старший адъютант его капитан Соваж, высокий полный голубоглазый блондин.

За столом Куропаткин, ген. Линевич — будущий главнокомандующий в Японскую войну и прославленный герой Китайской войны генерал Ренненкампф.

Все боевые генералы — Георгиевские Кавалеры.

Сначала, меня, по молодости лет, за обед сажать не хотели, но я слезно умолил отца и так сидел на кончике стола в гимназическом мундирчике, не спуская глаз с блестящего синклита.

Пили французы много и только шампанское. Не ударил в грязь лицом и Ренненкампф, тоже любивший крепко выпить; высокий, полный, с рыжими расчесанными на обе стороны бакенбардами, он слегка походил на Скобелева.

Генерал это знал и старался во всем подражать Белому генералу.

Генерал Линевич, наоборот, был скромный старик. Нависшие седые усы придавали ему слегка суровый вид.

Маршан утром ездил на прием в Царское Село и был совершенно очарован Государем.

Много в этот вечер наслушался я речей и тостов, и меня с великим трудом увели спать.

- - - - -

После падения Порт-Артура, в Петербург приехал генерал Стессель, старый знакомый отца.

Сначала вся Россия встречала его как героя. Но вскоре общественное мнение восстало против него и обвинило чуть-ли не в открытой измене, это привело его к военному суду и в конечном результате к многолетнему заключению в крепость.

Как сейчас помню у нас его высокую полную

фигуру. Считал он себя правым и мало смущался нависшими над ним обвинениями.



В ДОМЕ КУРОПАТКИНЫХ

Мне 10 лет. Я дружу с моим сверстником Алей Куропаткиным, сыном военного министра, друга и боевого товарища моего отца по Скобелевским походам.

Целыми днями с такими же, как и я, сорванцами носимся мы по необъятному министерскому дому, что на Мойке у Синего моста.

Воскресенье! Приемный день Александры Михайловны — жены министра.

В большой красной гостиной, в углу на диване, сидит сама хозяйка, высокая симпатичная дама. С проседью, кудрявая прическа обрамляет красивое румяное лицо.

Гостиная полна народу. Заслуженные генералы, члены дипломатического корпуса с женами. Среди всех выделяется тучная фигура знаменитого военного стратега генерал-адъютанта М. И. Драгомирова. Большая лысая голова с зачесами, круглые золотые очки. Одет в серую черкеску, на шее Георгий.

Мы, мальчишки, не смущаясь бегаем тут же, кричим и шалим.

Время к 7 часам. Публика начинает сбывать.

Остались только человек 10-12, приглашенных к обеду.

Развалистой походкой входит и сам министр, небольшого роста, коренастый, очень симпатичный. Он в серой тужурке — по-домашнему.

Ровно в 7 дворецкий докладывает, что обед подан, и все через большой зал идут в столовую. Нас, детей, уводят мыть руки.

Бегу, возвращаясь через гостиную, и вижу, как в пустой комнате у зеркала задержался генерал Драгомиров. Щеточкой тщательно приглаживает редкие усы, потом берет палочку, с которой никогда не расставался, под мышку и, слегка прихрамывая на раненую ногу, направляется в столовую. Подходя к ней, вижу, как он начинает усердно хромать, опираясь на трость.

Громадная столовая вся обвешана старинным оружием и серебряными блюдами. Все это подарки Куропаткину в бытность его главнокомандующим Закаспийского Края.

За длинным, покрытым белоснежной скатертью и уставленным хрусталем, столом сидит на председательском месте сама генеральша. Справа от нее — Драгомиров слева — Куропаткин и, рядом с ним, дядя мой, художник Василий Васильевич. Он в темно-синей наглухо застегнутой тужурке. В петлице белеет Георгий. Дальше сидят: начальник ген. штаба Сахаров, мой отец и другие приглашенные.

Мы, все дети, примостились на другом конце стола, где нашу шумную компанию возглавляет гувернер Алеши француз Месье Барро.

Слышу, дядя что-то рассказывает. Должно быть интересное, т. к. Куропаткин перестает есть. вни-

мательно слушает и перекидывается отрывистыми фразами с Драгомировым, но тот слушает плохо, занятый налимьей ухой: ведь Драгомиров также знаменит, как великий хлебосол и чревоугодник.

Обед кончен. Все идут в зал пить кофе. Кто-то из гостей садится за рояль и играет любимый вальс милой хозяйки. Она любила потанцевать!

Уж поздно. Алешу уводят спать. Отец разыскивает меня и с трудом увозит домой.

Завтра надо рано вставать, идти в школу, а уроки еще не выучены.



ГЕНЕРАЛ К. В. ЦЕРПИЦКИЙ

Генерал Константин Викентьевич Церпицкий был большим другом моего отца и всей нашей семьи. Старый холостяк невысокого роста, толстый, с рыжей, коротко остриженной головой и небольшими глазами навывкат. Говорил он хрипло, беспрестанно покашливая. Нас детей любил и баловал крепко и, в свои редкие приезды в Петербург из провинции, где он служил, заваливал нашу квартиру всевозможными подарками и громадными коробками конфет. Останавливался он всегда на углу Кирочной и Литейного, в Офицерском Собрании Армии и Флота и мы с братом прыгали, бывало, от радости, когда отец брал нас с собой проводить генерала.

Церпицкий был генерал боевой. Еще в Хивинском походе, молодым капитаном, заслужил Георгиевский крест и с тех пор пользовался в военных кругах репутацией храброго и лихого командира.

Известность его возросла еще больше после следующего случая.

Командовал он бригадой где-то в Царстве Польском и начальником дивизии у него был Б-ов, человек весьма неприятного характера. Церпицкий сам любил весело пожить, любил и повеселить свое офицерство, а потому у него и бригаде частенько устраивались балы и вечера. Вот, на один из таких балов генерал Б-ов привел даму, пользовавшейся в городе сомнительной репутацией и в семейных домах не бывавшую. Церпицкий, со свойственной ему прямоотой, потребовал удаления ее из Собрания. Вступился Б-ов. Произошел грандиозный скандал, окончившийся вызовом Церпицким Б-ва на дуэль. В то время, дуэли были строго запрещены в Русской Армии, но ввиду исключительного случая, Государь, по докладу военного министра Куропаткина, дуэль разрешил и она состоялась — без кровавых результатов. Генералы обменялись выстрелами, причем у Церпицкого оказалась простреленной туля фуражки. Этой фуражкой он очень гордился и долго носил ее.

В русско-японскую войну Церпицкий командовал X армейским корпусом, который доблестно сражался под его начальством. Но, вот, однажды, пришла телеграмма, что генерал внезапно сдал командование и выехал в Петербург. Встретить его на вокзале собралась вся наша семья и множество друзей. Поезд подошел, все ищут глазами знакомую фигуру — генерала нет... Только вдруг, видим стоит, опираясь на палочку, маленький согнувшийся старичок — Церпицкий. Все так и ахнули и бросились к нему.

— Константин Викентьевич, что с вами?

— Болею, сил больше нет, — с тоской говорит генерал и грустно смотрит на нас потухшими глазами.

Немыслимо было, в этом иссохшем старичке признать того жизнерадостного Церпицкого, которого мы знали. Как на вешалке, висели на нем сюртук и теплая шинель. Сам он так сморщился, что, казалось, весь мог поместиться на ладони. Невозможно было без слез смотреть на него. У генерала был рак желудка, но он об этом не знал и все еще верил в скорое выздоровление. Остановился Церпицкий у нас, на Знаменской, и народу бывало у него великое множество.

Через несколько дней мой отец сопровождал генерала в Царское Село, на прием к Государю. Рассказывали, что за несколько минут до приема, Государь попросил начальника своей походной Канцелярии князя Орлова принести и положить ему на стол Орден Св. Георгия 3-й степени.

Увидев Церпицкого таким больным и несчастным, Государь обнял и обласкал старика, собственноручно, повесив ему орден на шею. Из дворца Церпицкий приехал восторженный и прямо помолодевший. На следующий день, ему были привезены от Государя 10 тысяч рублей и строгий приказ ехать за границу лечиться. Генерал решил ехать в Канны, где находился госпиталь для русских раненых, находившихся в ведении Великого Князя Михаила Николаевича.

Ехал Церпицкий со своим вечным деньщиком Емельяном Ивановичем, таким же холостяком. Емельян Иванович был хохол, весельчак и балагур, но беда была в том, что ни генерал, ни, тем более, Емельян ни слова не понимали ни по-французски,

ни по-немецки. Это обстоятельство очень смущало генерала и он упросил отца отпустить меня с ним в заграничное странствование.

Был октябрь 1905 года и беспорядки в Петербурге были в разгаре. Все кругом бастовали. Ожидался знаменитый манифест 17 октября. Железные дороги стояли и выехать за границу можно было лишь кружным путем через Финляндию, благо финляндская дорога еще обслуживала столицу.

14 октября, в день моего рождения, вечером, с трудом добрались мы до вокзала и разместились в полуосвещенном вагоне. Провожающих было немного — мой отец и несколько друзей генерала. Кроме меня и Емельяна, до Парижа, ехал с генералом еще полковник Н. Д. Заботкин. Генерал, в теплом штатском пальто и мягкой пуховой шляпе, поверх галстука одет Георгиевский крест, что делало его фигуру чрезвычайно комичной. С Георгиевским крестом Церпицкий никогда не расставался и одевал его даже в постель, поверх ночной рубашки.

Но, вот третий звонок, отец крестит меня и все просит беречь себя и генерала. Поезд тихо трогается и через час мы, минуя Белостров, уже за границей.

В Гельсингфорсе, куда мы приехали на следующий день утром, сразу повеяло Европой. После нашей российской неразберихи и беспорядков, все казалось таким спокойным и аккуратным. Мы направлялись в Любек и подходящего парохода приходилось ждать целых двое суток. Как я, так и Церпицкий, оба мы опасались моря и, хотя мне не приходилось еще испытывать качки, я все же с ужасом думал о предстоящей морской болезни.

Командир порта снабдил нас какими-то чудодейственными каплями и, наконец, настал час отплытия.

Генерала устроили в большой каюте вместе с Емельяном Ивановичем, я поместился рядом, в каюте поменьше и в третьей — Заботкин. Утро выдалось чудесное. Солнце светило вовсю и ярко освещало спокойное пространство моря. В 12 часов, с ударами гонга, я спускаюсь в общую столовую завтракать.

По финскому обычаю, громадный стол заставлен всевозможными закусками и водками — за одну марку, можете есть и пить до отказа. Я так плотно наелся этой закуской, что с трудом мог завтракать, а завтрак был большой — в пять-шесть блюд.

Пока я спокойно сидел в столовой, пароход вышел в открытое море и нас стало порядком покачивать. С непревычки шатаясь, вылезаю на палубу, где ветер так и свистит и воет. Яркое солнце освещает громадные, изумрудные с белыми гребешками волны, набегающие на наш небольшой пароход и разбивающиеся об него миллионами брызг. Едва-едва успел я пробежать до борта и распротиться с великолепным завтраком. Полуживой, добираюсь до своей каюты и, весь измученный, бросаюсь, как пласт, на свою койку. Слышу рядом, за стеной, жестоко страдает мой генерал. Боясь качки, он вместо того чтобы принимать данное ему лекарство по каплям, выпил его сразу и это еще более усилило его мучения.

А пароход качает все сильнее и сильнее. По дороге в Любек, мы должны были зайти в Ревель, и я, за какие-нибудь 4-5 часов, так изнемог, что

решил сойти на берег и вернуться обратно. Пропадай, думаю, генерал и вся моя заграничная поездка. Но, ввиду больших беспорядков в порту, с парохода никого не спускали, а также и не принимали новых пассажиров, так что, простояв на рейде с полчаса, мы тронулись дальше. К счастью, от Ревеля до самого Любека море было как зеркало и я, все двое суток, досыта наслаждался всеми прелестями паровой жизни.

Быстро минуем Германию и Бельгию. Под конец дороги, генерал сильно устал и раскапризничался. В видах экономии, он вдруг вздумал ехать в третьем классе, что было сплошное мучение, ввиду неимоверной сутолоки и грязи. Своими хриплыми криками и Георгиевским крестом на шее, в непривычно сидевшем на нем штатском платье, он приводил французов в крайне веселое настроение, что страшно сердило его самого, и он, на чем свет стоит, ругал французов на самом отборном российском диалекте.

Поздно вечером, приехали мы в Париж. На меня, никогда в нем не бывавшего, само его имя производило какое-то неизъяснимое впечатление, в нем было что-то манящее и чарующее. В те времена, автомобили были еще большой редкостью и мы, разместившись в двух уютных каретках, с весьма чистенькими возницами, в белых лакированных цилиндрах и с бичами в руках, тронулись рысцой через весь город к Тюильерийскому саду, где в отеле Континенталь нам были оставлены комнаты. Теперь, будучи скромным эмигрантом, мне все как-то не верится, что когда-то я мог спокойно жить и разгуливать полноправным жильцом по великолепным залам этого отеля и рассаживаться

в его громадной столовой, обслуживаемой важными мэтрд'отелями. Генерал роскошно устроился в первом этаже, спальня с ванной и большая гостиная — приемная, уставленная мягкой шелковой мебелью. Я занял комнату повыше и попроще.

На другой день — время завтрака. Садимся все в открытую коляску и едем на бульвары. Погода отличная. У нас в Петербурге сейчас слякоть и снег, а здесь все в легких пальто и на улицах продают фиалки.

Сам генерал ест мало, но меня уговаривает попробовать и того и другого, и я не заставляю себя упрашивать, накидываюсь на фрикассе из лягушек, которых раньше видел только живыми у себя в деревне. Затем, в том-же экипаже едем осматривать город.

На завтра утром, я еще одевался, как стук ко мне в номер и портье докладывает, что прибыла депутация от французской армии и желает видеть «месье ле женераль Церпицкий». Спускаюсь вниз, в салон, где вижу красивого, с седыми усами, генерала в парадной форме, в сопровождении нескольких офицеров — тоже в мундирах. Я подхожу и представляюсь. Генерал объясняет, что он лично знаком с Церпицким и просит разрешения повидаться с ним, дабы поднести ему почетную саблю от французской армии.

Иду к своему больному. Тот лежит в постели, весь облепленный горчичниками, охает и кричит, но, все-же, преодолевает себя, нацепляет на пиджак еще какие-то звезды и, бережно поддерживаемый верным Емельяном Ивановичем, плетется к гостям. Я иду сзади.

Свидание было самое дружеское и любезное,

на какое способны галантные французы, и мой генерал, чрезвычайно довольный, возвращается к себе, прижимая к груди футляр с роскошной шпагой с золотым эфесом и лестной надписью. В тот же вечер экспрессом мы выехали в Канны.

На юге, сначала, Церпицкому стало как будто лучше, но затем он стал приметно слабеть. Болезнь, повидимому, развивалась и затягивалась. Жизнь в Каннах мне обходилась очень дорого. Приходилось тянуться за генералом, который не стеснялся в средствах и, экономя на пустяках, порой швырял деньги прямо на ветер. Сбережения мои таяли незаметно. Писать етцу с просьбой о высылке подкрепления я не решился, так как в Париже поистратился на всевозможные ненужные развлечения. Боясь, ввиду растущих беспорядков в России, быть отрезанным от семьи, я стал подумывать о возвращении домой. Церпицкий меня долго не отпускал; наконец, после двухмесячного пребывания у теплого моря, я, нежно простившись с ним, выехал через Берлин в Петербург.

.

Поезд мчится на север. Становится все холоднее. После солнца, я сильно мерзну, в легком пальто. В Берлине застаю настоящую русскую зиму, с глубоким снегом. Еду спокойно, без приключений, у только в Пскове узнаю, что железные дороги бастуют и поезда не ходят. На станции сбилось до 20 составов. Толчея и шум стоят невообразимые. В буфете нельзя достать даже кипятку. Так стоим день, стоим два. Кто мог » разбрелись по городу, разыскивать знакомых. На третий день, узнаем, что какой-то, единственный, поезд идет

через станцию. Дно. Трудно себе представить, что делалось — места брались с бою. Я, со своим чемоданчиком, все-же, пролез во второй класс не-топленного вагона и взобрался на поднятое верхнее сиденье. Сутки тащились, останавливаясь подолгу, то на станциях, то в открытом поле. Измученный, холодный и голодный, попал я, наконец, в долгожданный Петербург.

Через несколько недель мы узнали, что Константин Викентьевич Церпицкий скончался на руках своего верного Емельяна и похоронен на кладбище в Каннах.



ПАЖЕСКИЙ КОРПУС

Когда мне минуло 15 лет, родители решили отдать меня в Пажеский Корпус, куда я был записан с рождения.

Пригласили учителей и я засел за книги.

В мае начались экзамены, на которые отец сам сопровождал меня.

В назначенный день нас собралось человек 20 — мальчиков: кто с отцами, преимущественно военными, кто и под крылышком почтенных мамаш.

Величественное здание Корпуса на Садовой, швейцар в красной с позументами ливреи, громадный белый зал и приемная, вся завешанная портретами бывших пажей, среди которых выделялся портрет фельд-маршала Гурко — во весь рост — все это произвело на нас неотразимое впечатление.

Помню экзамен по географии.

Экзаменует молодой блестящий ротмистр Рит-тих (впоследствии директор Корпуса), симпатичный блондин:

— Скажите, Верещагин, где находится река Амазонка, я тычу пальцем в Северную Америку.

— Ну-с так. А как называется столица Германии?

— Берлин, — радостно выпаливаю я.

— А на какой реке?

— На Рейне.

— Так, так. Ну, что же вы знаете?

Я молчу.

— Ну, скажите, что тяжелее лед или вода?

У меня в голове мелькают тяжелые глыбы льда, которые у нас в деревне привозили зимой, чтобы набивать ледник. Бывало, двое мужиков едва поднимали такой «кабан».

— Ну, конечно, лед, — уверенно говорю я.

Ротмистр сокрушенно разводит руками, затем отходит от карты к столу и размашистым почерком ставит 6 баллов, затем подумав прибавляет еще жирный минус.

На экзамене Закона Божьего присутствовал начальник Военных Учебных Заведений Великий Князь Константин Константинович.

Настроение в зале торжественное.

Большой длинный стол покрыт зеленым сукном. За ним во главе с Великим Князем расположилось начальство.

Меня по алфавиту вызывают вторым.

— Верещагин! — подхожу. Рядом с Великим Князем вижу священника. Слегка седеющая борода, курчавые волосы непривычно коротко остри-

жены, лицо располагающее, мягким голосом задает вопросы. Спрашивает имена евангелистов и первый текст из Катехизиса. Я отвечаю бойко.

— Хорошо, хорошо, — говорит священник (как я узнал потом, знаменитый проповедник Григорий Петров), затем наклоняется к Великому Князю и что-то ему тихо говорит.

— Да, да, разумеется, можешь идти, — говорит мне Великий Князь, ставит 12, ласково глядит своими голубыми глазами и отпускает.

Далеко не так удачно сошли остальные экзамены.

По алгебре, в которой я был всегда слабоват, я срезался и основательно.

Назначили переэкзаменовку на осень.

Тщательно подготовившись за лето, являюсь в августе в Корпус.

Задают какую-то пустячную задачу и затем объявляют, что примят.

Не чуя под собою ног, прилетаю домой и тороплю отца скорее ехать заказывать форму.

—o-O-o—

В КОРПУСЕ

Директором Корпуса у нас был Н. А Епанчин, высокий генерал весьма сурового вида.

Что у него было замечательного так это усы — завивались они спиралью и росли во все стороны. Генерал читал лекции в Военной Академии Генерального Штаба, а потому из-за недосуга Корпусом занимался мало.

Корпусными делами заправляли ротные командиры. Их было трое: первой роты специальной — Камер-Пажеской, полковник Карпинский, 2-й роты полковник Потехин и нашей третьей — младшей полковник Чернойаров. В каждой роте было по два класса при офицере-воспитателе.

Из ротных командиров знаменитый был полковник Потехин, грубый и необщительный.

Однажды, придя в класс после урока французского языка, он увидел на доске оставшееся и не стертое слово «*jamais*». Не разобрав в чем дело и предполагая какую-либо шалость, он по-русски прочел «жа-ма-ис» и строго приказал «стереть эту мерзость».

Почтенный полковник был, как видно, слаб в иностранных языках.

Учебной частью заведовал полковник Линдеберг, небольшого роста, с седой бородкой и в очках. Его почему-то прозвали «помидором».

Находились смельчаки-шалуны, которые бывало подойдут и, вытянув руки по швам, спросят:

— Вы слышали, господин полковник, на Петербургской стороне разграбили лавку с помидорами.

— Как же слышал, слышал, а вот вы, голубчик, останьтесь-ка на часок в субботу.

Из преподавателей навсегда останется в памяти, своего рода корпусная редкость, действительный тайный советник Рудольф Игнатьевич Менжинский. Ему было под 80 лет и прослужил он в корпусе более полу-века, за что был награжден звездами и лентами. Из учебников признавал одного Иловайского и хотя уроки задавал небольшие, требовал дословное повторение книжки.

Бедный старик! Думал ли он, что его имя так ужасно прогремит на весь мир в лице его преступного сына — начальника Г.П.У.

Сильно процветало в корпусе пресловутое «цуканье» и как не пыталось начальство, все никак не могло искоренить этот нелепый обычай.

Большие мучения и нравственные переживания доставляли нам, малышам, когда в «Башне» (W.C.) товарищи старших классов заставляли нас безостановочно маршировать или делать подряд сотни поворотов.

Во избежание скандалов начальство часто на это закрывало глаза.

Сначала я был живущим, а потом меня, вняв моим просьбам, сделали приходящим.

Какое счастье было в 4 часа, окончив уроки и явившись дежурному офицеру, пройтись по Невскому до Знаменской, где мы тогда жили и, приготовив на завтра уроки, уснуть в теплой постели, а не среди чужих в холодном мрачном дортуаре.



12 декабря Корпус справлял свой Праздник.

Устраивался сначала концерт, а потом бал.

В этот вечер в корпус съезжался весь великосветский Петербург.

На одном из таких концертов впервые выступил я.

Помню: весь белый зал залит светом. Ордена, ленты, дамы в открытых платьях. В первом ряду Великий Князь и генералитет.

Пел я романс Denza с виолончелью и дуэт «Crucifix» Фора с камер-пажем баритоном.

Вспоминая сейчас этот вечер не могу понять, как мог я так спокойно стоять и петь не волнуясь.

Но все сошло отлично. Это — был мой первый сценический успех.

—o-O-o—

ГРЕЧЕСКИЙ КОРОЛЬ ГЕОРГ

Время после завтрака. Шум в роте стоит великий.

Неожиданно входит ротный командир, милейший полковник Чернояров в шарфе и при шашке. Нервно натягивая перчатки, командует:

— Смирно, строиться!

Дежурный дядька широко распахивает двери и мы видим, входит греческий король Георг в сопровождении великого князя Константина Константиновича.

Свита, как туча, двигается за ними.

Король медленно идет вдоль фронта и по-русски здоровается с нами:

— Здравствуйте пажи!

— Здравия желаем, Ваше Королевское Величество! — звонко отвечаем мы.

Поспешно, развалистой походкой входит запоздавший военный министр генерал Куропаткин. Он в генерал-адъютантском мундире.

Наша рота славилась хорошими гимнастами и директору корпуса генералу Епанчину повидимому хочется похвастать перед Высокими гостями и он что-то на ухо докладывает Великому Князю.

— Прекрасно, прекрасно, — слегка картавя отвечает тот.

Ротный вызывает нескольких наших тузов, ко-

торые четко проделывают всевозможные упражнения и, как птицы, перелетают через большую кожаную «кобылу».

В гимнастике я был слабоват и стою ни жив, ни мертв, боясь попасться на глаза начальству.

Но о ужас! Куропатки заметил меня и, улыбаясь, говорит:

— А ну-ка, Верещагин, покажи нам свое искусство.

Мысленно перекрестившись, разбегаюсь, спотыкаюсь о трамплин и позорно тыкаюсь носом в «кобылу».

— Ха, ха, ха! — хохочут все кругом.

Потирая ушибленное коленко, я сконфужено отхожу в сторону и прячусь за спинами товарищей.

—о-О-о—

Не успел я привыкнуть к корпусу, как тяжело заболел; определилось крупозное воспаление легких, а затем гнойный стрептококковый плеврит. Долго был я при смерти, но сила молитвы моих дорогих, не отходивших от меня, родителей спасла меня.

Перенеся тяжелую операцию, я стал медленно поправляться.

Едва мне стало лучше, меня отправили на юг в Италию, куда я и уехал в конце февраля 1904 года, получив в корпусе годовой отпуск.

—о-О-о—

В январе 1905 года в Петербурге началась первая революция. Повсюду стреляли и по улицам было опасно ходить и все, даже проходящие, пажи ночевали в корпусе.

В корпусном манеже временно стоял для охраны полу-эскадрон Конно-Гренадер и вот, однажды, вахмистр доложил своему офицеру, что фельдфебель корпуса, т. е. камер-паж Государя Верховский обращался к солдатам с весьма революционными словами.

Повторялась история с камер-пажем императора Александра Второго князем Крапоткиным, ярым революционером, лишенного всех прав и долго просидевшего в Петропавловской крепости.

Но государь Николай Второй только разжаловал в солдаты Верховского и отправил его на передовые позиции в действующую армию.

Там Верховский за геройское поведение был произведен в офицеры, окончил Академию Генерального Штаба и в Первую Великую войну заслужил Георгиевский Крест.

При Керенском он был одно время военным министром.



ГРУБЫЙ ОФИЦЕР

Воскресенье. 2 часа дня. Еду в санях по Сергиевской улице. У меня болит рука и висит на перевязи. Черная повязка на сером башлыке ярко выделяется.

По военному уставу отдавать честь можно только правой рукой и, если она занята, то отнюдь не левой, а надо только повернуть голову и смотреть в глаза начальству.

Вдруг от одного подъезда отъезжает офицер, капитан с большой черной бородой.

Я поворачиваю голову в его сторону.

Не замечая или не желая заметить моей повазки, он грубо кричит мне:

— Честь надо отдавать, эй, вы сапог, — и уезжает.

Я останавливаю извозчика, подхожу к швейцару, который старательно подсаживал моего капитана и спрашиваю фамилию офицера. Служил он в инженерных войсках.

Немедленно еду в корпус, являюсь дежурному офицеру и докладываю о происшедшем. Тот докладывает ротному командиру, ротный — директору.

Так дня через 3-4, в полдень, рота выстраивается, чтобы идти вниз завтракать. Меня вызывают из строя в приемную. Там директор, ротный командир и инженерный капитан в мундире.

В присутствии начальства, весьма смущенный он извиняется передо мной за свою грубость.

Больше я его не встречал.

—о-О-о—

КРАСНЫЙ КОМАНДИР *)

Был у меня в корпусе товарищ Сережа Баторский, с которым мы были большие приятели.

Я рано ушел из Корпуса и дороги наши разошлись. Знал, что он из Камер-Пажей вышел в Сине Кирасиры Ее Величества и поступил в Академию Генерального Штаба.

Шел 20-й год. Петербург изнывал под палящими лучами июльского солнца.

Обтрепанный и голодный, мрачно шел я по

*) Накануне 2-ой войны, Баторский вместе с другими бывшими царскими офицерами по приказу Сталина был расстрелян.

Невскому проспекту, совершенно пустому. Все замерло. Кругом ни души.

Вдруг(из-за угла с Садовой улицы по направлению к адмиралтейству показывается странный экипаж, запряженный двумя тощими лошаденками.

На козлах ободранной коляски поместились возница и красноармеец с ружьем. В самой коляске, задрав высоко ноги в лакированных сапогах, развалился военный. Знаменитая «спринцовка» на голове, красные ромбы на рукавах, новенькие ремни, а главное, огромный красный бант на груди выдавали знатного военного комиссара.

Я остановился и стал смотреть.

Когда еле плетущаяся коляска поравнялась со мною, что-то знакомое показалось мне в этой фигуре.

И вдруг вспомнилось — Баторский.

Казалось и он узнал меня и невольно рука его потянулась к козырьку, но встретив мой взгляд, полный гадливых чувств и ненависти, быстро опустил руку и отвернулся.

Целая пропасть лежала между ним, блестящим комиссаром, и мною, голодным недорезанным буржуем.



«КАТАСТРОФА» В ЕКАТЕРИНИН ДЕНЬ

Друзья моих родителей Александр Александрович Шепетковский — генерал для поручений при военном министре — и его жена Екатерина Ива-

новна, жили в большой квартире своего дома на Караванной улице.

Ежегодно, 24 ноября, в день Св. Екатерины, с поздравлениями именинницы, уже с четырех часов дня, начинали съезжаться ее многочисленные друзья и знакомые.

В один из таких дней, мама моя была простужена и предложила мне, только что осенью поступившего в Пажеский Корпус, поехать вместо нее поздравить Екатерину Ивановну.

Надев новенький мундир и белые перчатки. я гордо отправился с визитом.

Открывший дверь лакей доложил: «что Ея Превосходительство в красной гостиной».

Пройдя целую анфиладу комнат, я вошел в большую гостиную, где в углу, на круглом диване сидела именинница, окруженная цветником нарядных дам.

Перецеловав все ручки и передав мамино поздравление, я по приглашению хозяйки, уселся на единственно свободный низенький пуф.

В этот момент в дверях показался степенный с бакенбардами лакей, с огромным серебряным подносом, на котором виднелась маленькая чашечка.

За первым лакеем шел второй с таким же огромным подносом, но уставленным всевозможными печениями и высокой ромовой бабой.

Когда это шествие направилось прямо ко мне, у меня сразу мелькнула мысль: отказаться, во что бы то ни стало, но увы! После настойчивых уговоров милой хозяйки, я оказался обладателем чашечки с горячим шеколадом.

Не успел я взять в руки ложку, как вдруг по-

чувствовал, что пуф подо мной задвигался на своих роликах и куда то меня стремительно понес.

Инстинктивно, желая сохранить равновесие, я невольно размахнулся рукой вместе с чашкой и обильно окропив горячим шеколадом сидящих дам, сам задрал кверху ноги, повалился назад, ударив головой стоявшую рядом японскую вазу, которая, упав со звоном и треском разбилась на мелкие куски.

Совершенно оболдев, я взвыл от ужаса и под крики перепуганных дам, закрыв лицо руками, пулей вылетел из гостинной и еще раза два поскользнувшись на скользком паркете, как сумасшедший промчался мимо бежавших навстречу лакеев.

Не помня себя, я вернулся домой, бросился в постель и закрылся с головой одеялом.

Ночью у меня сделался жар и я бредил шеколадом.

Вазу — мне добрейшая Екатерина Ивановна простила, но мое шеколадное орошение дамам пришлось совсем не по вкусу.

В БОЛГАРИИ

Во время Русско-Турецкой войны 1877-78 г.г. мой отец, состоя ординарцем у Скобелева, со своей сотней казаков освободил осажденный турками болгарский город Севлиево и спас его от резни и разграбления.

В 1904 году моему отцу, как писателю, военный министр поручил съездить в Болгарию для ознакомления с положением страны.

Отец решил взять с собой меня, только что поступившего в Пажеский Корпус.

По дороге в Софию отец решил заехать сначала в городок Нерви, около Генуи, где моя мать проводила зиму с моим больным братом. Прожив неделю в этом маленьком раю, мы двинулись в дальний путь посетив по дороге Вечный город, где нас настигла грустная весть о гибели в Порт-Артуре броненосца «Петропавловска» с адмиралом Макаровым и братом отца — художником В. В. Верещагиным.



В те годы София, столица Болгарии, уже была большим культурным городом. Везде электрическое освещение, водопровод, трамваи, широкие улицы, многоэтажные дома и европейски-комфортабельные гостиницы.

По приезде идем с визитом к нашему послу Бахметьеву.

Он со своей женой, американкой, живет на широкую ногу. Множество кавасов, ливрейных лакеев и прочей челяди.

Познакомились и со всеми остальными членами посольства, встретив везде чрезвычайно любезный прием и гостеприимство.

Особенно тепло приняла нас семья военного атташе ген. Николая Ивановича Протопопова. С ним и с его женой, Генриэтой Петровной, мы очень подружились и они часто бывали в последствии у нас в Петербурге.

Как официальное лицо, отец должен был представиться Фердинанду, тогда еще князю, ставшему через несколько лет болгарским царем.



ПРИЕМ У КНЯЗЯ

Министр Двора уведомил нас, что мы будем приняты князем в 5 часов дня.

За четверть часа подана была придворная коляска. До дворца недалеко. Он помещается в центре города, окруженный тенистым парком.

Блестящий адъютант проводит нас в небольшую приемную, припадает ухом к двери и исчезает.

Минут через пять дверь распахивается и тот же адъютант вводит нас в большой кабинет.

У окна стоит сам князь.

Он быстро подходит к моему отцу и крепко жмет обеими руками его руку.

Отец представляет меня.

Я с любопытством раглядываю князя.

Князь высокий, полный, совершенно лысый. Громадный орлиный нос резко выделяется. Разговор ведется то по-французски, то по-немецки (родном языке князя).

Его Высочество выражает свое глубокое сожаление по поводу гибели дяди художника. Расспрашивает о Государе и живо интересуется Русско-Японской войной.

Князь очень сожалеет, что ввиду его отъезда в провинцию он не имеет возможности пригласить нас к себе обедать.

Прием кончен. В сопровождении адъютанта мы выходим, спускаемся с крыльца и в той же коляске возвращаемся к себе в гостиницу.

На следующий день на мое имя был прислан портрет князя с собственноручной подписью.

ПО БОЛГАРИИ

После двухнедельного пребывания в Софии отправляемся осматривать страну.

Отцу непременно хотелось проделать тот же путь, что он прошел во время войны со своей Кавказской бригадой.

Сначала ехали по железной дороге, а потом отец пересел в двухпарный фаэтон, а я предпочитал ехать верхом и все гарцевал около папашиного экипажа.

Болгария страна небольшая и о приезде отца стало повсюду известно.

Особенно всполошились жители Севлиево, где еще жили участники Турецкой войны и свидетели освобождения города моим отцом, которого считали своим спасителем и потому решили устроить ему торжественную встречу.

Ничего об этом не зная, мы были поражены, когда за две версты от города нас встретила толпа девушек и молодых женщин с гирляндами цветов.

При въезде в город все духовенство во главе с митрополитом в праздничных облачениях ждало нас.

На площади выстроились войска.

Весь генералитет и городские власти.

Под пушечную пальбу и колокольный звон повели нас в собор, где начался торжественный молебен, во время которого дьякон провозгласил многолетие за Александра та Верещагина и наследника его Владимира.

Потом в городской Ратуше было торжественное заселение.

Отцу преподнесли почетное гражданство горо-

да Севлиево и в честь него его именем назвали бульвар и находящееся на нем городское училище.

Торжества закончились поздно вечером блестящей иллюминацией.

С утра начался прием гостей. Кто только не перебывал у нас. И стар, и млад спешили позжать руку своему спасителю, а со следующего дня начались и наши ответные визиты.

Ко всем надо было зайти, посидеть и отведать хлеба-соли.

Ходили из дома в дом. Начали втроем с кметом города.

Подходим к дому, хозяин встречает на крыльце и с низким поклоном вводит в горницу.

Все садятся. Входит хозяйка и несет на подносе несколько вазочек замечательного болгарского варенья. За ней дочка или кто-нибудь из младших женщин, у них в руках тоже поднос с кувшином или графином ледяной воды и несколько стаканов.

Пробуем варенье и запиваем глотком воды. Прodelывают это также и все присутствующие, затем встают и двигаются дальше. Каждый хозяин считает своим долгом идти в свите за нами. Так что в конце уже мы делали визиты толпой человек в 30-40. И те, которые не помещались в горницах, терпеливо ждали нас у крыльца.

Ходили мы так до самой ночи и устали неимоверно.

Из Севлиево едем дальше.

Как в калейдоскопе, мелькают исторические места. Переправа через Дунай, Горный Дубняк, Ловча, Плевна.

Повсюду нас восторженно встречает население.

В каждом городе приемы, обеды и бесконечные визиты к местным гражданам.

Наконец, подъезжаем к Габровскому монастырю. Он расположен у самого подножия Балкан.

Отцу непременно хотелось перевалить через Балканы той же дорогой, которой шла в Турецкую войну русская армия.

Тогда это были неприступные высоты, теперь же превосходное широкое шоссе.

Едем в фаэтоне, запряженном парой сытых лошадей.

С одной стороны громоздятся отвесные скалы с другой — внизу бездонная пропасть. Совсем близко над нами парят огромные орлы.

Поднимаемся все круче и круче. Лошади приустиали и идут шагом, становится прохладно, хоть солнце и печет немилосердно.

Мы выехали из монастыря с зарею и только к вечеру взбираемся на вершину перевала — гору Св. Николая, знаменитую Шипку.

По ту сторону ее в полуверсте расположился небольшой Шипкинский православный собор.

С церковной колокольни простирается вид незабываемой красоты. Направо чернеет громада Балкан, налево, внизу, вся окутанная прозрачной дымкой голубеет Казанлыкская долина.

Глазом не окинешь эту беспредельную ширину, всю засаженную кустарниками роз.

Аромат такой сильный, что невольно кружится голова.

Изредка, как оазисы в пустыне, возвышаются широколиственные многовековые дубы.

Какое величайшее наслаждение испытали мы, проезжая этой истинно райской долиной.

Но вот и Филиппополь — наш конечный пункт. Ориент-Экспресс мчит нас из гостеприимной Болгарии в Константинополь.

Осмотрев эту сказку Востока, всласть нагулявшись по кривым улочкам и шумному базару, садимся на пароход «Адмирал Чихачев».

Море все время, как зеркало.

Через сутки на горизонте показывается Одесса!



ПОДАРОК ГОСУДАРЯ

За свою поездку по Болгарии я сделал множество фотографических снимков.

По приезде в Россию я весь ушел в их обработку и через несколько месяцев у меня получился объемистый альбом интересных воспоминаний.

Отец отобрал лучшие из них, переплел красивым переплетом и не сказав мне ни слова, отвез министру Двора для поднесения Государю.

Как-то во время перемены гоняюсь я взапуски с товарищами в большом ротном зале.

В дверях показывается высокая фигура директора Корпуса.

— Смирно! — командует дежурный офицер.

Генерал здоровается с нами и приказывает строиться, и когда рота замирает, вызывает меня. Удивленный выхожу вперед. Громко, чуть взволнованным голосом, генерал поздравляет меня с Монаршей милостью и передает подарок от Государя — золотые часы с Государственным Орлом, цепочкой и с грамотой на мое имя.

Восторгу и гордости моим не было границ.

Начальство благосклонно улыбалось, товарищи завидовали. Все это приятно щекотало мое самолюбие.

Как Высочайший подарок, я имел право носить часы, выпуская цепочку поверх мундира, что я и поторопился сделать.

Помню один курьезный случай.

Было это летом на музыке в Павловске. Только подходит молодой корнет одного из гвардейских полков и строгим тоном обращается ко мне:

— Вы что же это распустили цепочку, отправляйтесь немедленно в корпус, явитесь по начальству и доложите, что вас прислал корнет такой-то за непорядок в форме.

Я стою, не шелохнусь, руку под козырек.

Корнет сердито дергает за цепочку и вытаскивает часы.

Увидав орла, он сразу меняет тон, что-то бормочет и круто повернувшись исчезает в толпе гуляющих.

В корпус я, разумеется, не поехал.

Часы, память Государя, я долго хранил, как святыню.

В двадцатых годах, в дни страшного террора, во время обыска от меня их отобрали и чуть не расстреляли.



СРЕДИ АРТИСТОВ И ЛИТЕРАТОРОВ

С самых малых лет меня притягивала к себе сцена.

Когда я впервые, семилетним ребенком, попал

в Мариинский Театр и увидел оперу «Руслан и Людмила», то она произвела на меня такое огромное впечатление, что ночью у меня сделался жар и я в полузабытии бредил коварной Наиной и страшной головой.

Это было в один из моих редких приездов в Петербург на свидание с дедом, отцом моей матери.

Жили же мы, как я уже упомянул, круглый год в Луге.

Луга город маленький в 120 верстах от столицы и своего постоянного театра не имел.

Только летом, небольшой деревянный театр, стоявший заколоченный всю зиму, оживал какой-либо небольшой труппой драматических актеров.

В течении сезона приглашались знаменитые гастролеры, большей частью Императорских Театров. Приезжал к нам Варламов, Давыдов, Далматов и много много других корифеев русской сцены.

Репертуар давался боевой и само собой разумеется, что я присутствовал почти на всех представлениях, до боли в ладонях рукоплеская своим любимцам.

Особенно памятно мне лето 1904 г.

Труппу возглавлял Б. С. Глаголин, высоко талантливый актер Суворинского Театра. Две-три актрисы труппы имели недурные голоса, что навело на мысль приехавшего на гастроль Н. Н. Ходотова поставить оперетку.

Остановились на «Цыганских песнях» в лицах.

На беду заболел актер исполнявший роль молодого купчика Семена.

Не знаю, но кто-то шепнул Глаголину обо мне и в тот же вечер загремированный я стоял, пере-

пуганный на смерть, за кулисами, ожидая своего выхода.

Как я пел и играл — не помню. Спектакль удался на славу и я вместе со всеми выходил и раскланивался перед публикой.

Нам, пажам, было строго запрещено выступать на сцене, и я долго боялся как бы не узнало начальство про мой опереточный дебют.

Той же зимой в корпусе у нас составилась театральная кружка и мы, уже с благословения свыше, увлекались любительскими спектаклями.

В театрах, в особенности в Малом Суворинском, бывал я чуть ли не ежедневно.

Там премьерствовал Глаголин, с которым я свел нежную дружбу.

Перевидал я его во всех ролях.

А пьеса «Царь Дмитрий Самозванец и Царевна Ксения» (Суворина) видел раз 30 и знал всю наизусть.

Все сильнее и сильнее чувствуя влечение к театру, подходил я то к одному, то к другому актеру, присматриваясь к их искусству.

Одним из первых моих, если можно назвать учителей, был Василий Пантелеймонович Далматов, но будучи вечно в хлопотах по Суворинской драматической школе, где директорствовал, или занятый в Александринском Театре, то на репетициях, то в спектакле, В. П., к моему великому огорчению, не много мог уделить мне времени и я на лету хватал те редкие жемчужины его науки, которыми в часы досуга он успевал меня одарить.

Большой барин, чудный отзывчивый человек, это был громадный мастер сцены и созданные им

типы и образы навсегда останутся в памяти и истории Русского Театра.

Впоследствии много ценных указаний получил я от Ю. М. Юрьева.

Увы! Мои театральные стремления не находили себе отклика у моих родителей.

Они считали все это пустыми бреднями и готовили меня к совсем иной жизни.

Вопрос обострялся и я, не желая огорчать горячо любимых отца и мать, смирился, несмотря на то, что в душе бушевали неутихшие страсти.

Попутно с театральными порывами, во мне родилась жажда литературы и я стал пописывать стихи и рассказы.

—o-O-o—

Но с прозой дело не шло и я весь с головой окунулся в поэтическую лирику.

Это несказанно обрадовало отца.

Помню, с каким вниманием следил он за моими успехами, советуя мне как можно строже и критически относиться к самому себе.

У нас часто бывал большой друг отца знаменитый Владимир Васильевич Стасов.

Высокого роста, с огромной седой бородой, он напоминал библейского апостола.

Как сейчас вижу его дома у нас за обедом над блюдом дымящихся макарон посыпанных пармезаном, до которых Стасов был великий охотник.

Вот пред ним то я и предстал со своею музой.

Приехали мы с отцом к нему утром на его службу в Публичную библиотеку.

Низко склонившись над письменным столом,

как древний Пимен, сидит Вл. Васильевич и быстро что-то пишет своим бисерным почерком.

Увидев отца, он кладет в сторону перо, встает и идет навстречу, широко раскрыв могучие объятия.

— Друг мой Александр Васильевич, как рад я вас видеть, — напирая на О, кричит он.

Услышав про мое писание, ласково треплет меня по щеке и говорит: — Ну, что-ж, послушаем, послушаем — затем усаживает нас, садится сам и, откидываясь на спинку кресла, готовится слушать.

Писал я вначале совсем плохо и мне до сих пор стыдно за себя, что я мог так испытывать терпение милого старика.

И что же! Стасов прослушал все до конца, похвалил и приказал писать и писать.

— Выйдет хорошо-о-о, — басит он и на прощанье потрясает своей длинной бородой.

Не столь благополучно сошел мой последующий, много позднее, визит к другому критику Громовержцу Виктору Петровичу Буренину. Правда, я лично ему не читал своих стихов, а оставил для прочтения.

Когда же с тревогой пришел я за ответом, вышел он навстречу сумрачный и молча передав мне мое детище посоветовал мне впредь не заниматься «пустяками».

Это не помешало тому, что когда в 1913 году я издал небольшую книжку своих стихов, тот же Буренин дал о ней в «Новом Времени» благосклонный **отзыв**.



ВСТРЕЧИ С ШАЛЯПИНЫМ

Судьба не была ко мне благосклонна и не одарила меня голосом, который дал бы мне право выступать на сцене вместе с Шаляпиным. Зато в частной жизни мне пришлось нередко встречаться с ним.

В кругу друзей, в минуты его отдыха, я не знал человека милее и добродушнее, так охотно теплом и лаской дарившего каждого, кто бескорыстно подходил к нему...

Было время, когда Федор Иванович не имел своей постоянной квартиры в Петербурге. Приезжая из Москвы на гастроли в Мариинском театре, длившиеся иногда по несколько недель, он останавливался и подолгу гостил у наших общих друзей — Фельдберг.

Доктор Давид Владимирович славился в Петербурге, как замечательный ларинголог и считался «придворным врачом» Шаляпина.

Когда Ф. И. бывал не в голосе, он брал с собой в театр своего «ангела хранителя» вместе с его огромным портфелем, с каплями, мазями и всякими горловыми инструментами.

По примеру Шаляпина, почти все певцы, как Мариинской оперы, так и Народного Дома, лечились у Фельдберга.

Жена его — Александра Михайловна — первым браком была замужем за известным музыкантом инженер-генералом Миклашевским — участником квартета, в котором Император Александр III играл на контробасе.

Когда генерал служил в Тифлисе, у них в доме постоянно бывал совсем еще юный и начинающий

певец Федя Шаляпин, и с тех пор его и Ал. Мих. связывала тесная и нежная дружба.

В прошлом превосходная певица, А. М. рано прервала свою сценическую деятельность и занялась преподаванием пенья.

Когда из Москвы приезжал Федор Иванович, громадная докторская квартира на Жуковской улице, увешанная его многочисленными портретами, переворачивалась вверх дном.

В столовой, за длинным столом, уставленным винами и разными явствами, с кипящим самоваром, толпа знакомых и мало знакомых с утра и до поздней ночи, пила и закусывала...

Небольшой кружок молодежи — учениц и одного ученика — меня, целый день проводили в этом гостеприимном доме, с нетерпением ожидая минуты, когда наш общий кумир — Шаляпин, освободившись от докучливых посетителей, в халате и туфлях сядет играть по двугривенному в «шестьдесят шесть» со своим неизменным адъютантом Исайкой (артистом Народного Дома).

Мы все усаживались вокруг стола и с великим наслаждением следили за перепитиями игры.

Проигрывать Ф. И. не любил, сердился, но зато, когда выигрывал — становился веселым, милым и ласковым «дядей Федей», шутил с нами, рассказывал анекдоты и забавные случаи из своей жизни.

А рассказчик он был превосходный!..

Иногда, по субботам, мужчины всей компанией отправлялись в ближайшие Бассейные бани. Ф. И., в валенках и серой на меху поддевке, его друг и юрисконсульт М. Ф. Волькенштейн, доктор Фельдберг и я. За нами торжественно шествовал Вася — шофер доктора — с простынями и мочалками. Мы

сразу же направлялись в горячую, забирались на полки и парились березовыми вениками.

Обыкновенно Ф. И. начинал запевать какую-либо русскую песню и непременно требовал, чтобы мы все подпевали хором.

Среди клубов пара, на диво сложенная богатырская фигура Шаляпина казалась каким-то сказочным видением.

Из бани шли домой, где милая хозяйка ждала с кипящим самоваром.

Сидели поздно. Шаляпин любил чаевничать. Был обоятельно прост, смеялся и говорил без конца о чем угодно, но только не о театре. Тут он весь менялся, становился грозным и каким-то чужим.

В Сочельник, под Рождество, у Фельдбергов устраивалась грандиозная елка.

Гостей собиралось около ста человек, все больше из артистического мира: чета Фигнеров, Липковская, Кузнецова, Тартаков, Давыдов, Большаков, Андреев — тенор, Андреев — арфист, проф. Ауэр, а также много артистов Александринского и Михайловского французского театров.

В карты не играли. Только иногда ставили один стол для Шаляпина. Он любил сыграть два-три робера в винт.

Как-то удалось и мне сыграть в особенно знаменитой компании с А. М. Давыдовым и Н. Н. Фигнером.

Последний был весьма скуповат, ему не везло и, проиграв пять рублей, он страшно расстроился. Шаляпин его дразнил и хохотал.

Между тем, в большой гостиной шло концерт-

ное отделение и экспромтом составлялись такие дуэты, которых простым смертным и не услышать.

Революция все это разметала и унесла.



Уже при большевиках я случайно попал в Михайловский бывший французский театр, превращенный в малый оперный .

Была зима, стояли холода и в нетопленном зале сидели в шубах.

Шел сборный спектакль с Шаляпиным.

Как всегда, публика бесновалась.

Впервые увидел я его в небольшой роли «Варлаама», но этот созданный им гениально образ потряс меня во много раз сильнее чем все виденные Шаляпинские коронные роли.

Как замороженный сидел я, внимая широкой и разгульной песне грязного бродяги-монаха, и вставали перед глазами видения древней Руси, такой далекой и такой близкой и родной русскому средцу.

В антракте я пробрался за кулисы.

На сцене суетились какие-то типы во френчах. В своей уборной Ф. И. раздевался.

Он был мрачен и озабочен.

Больше я в России с ним не встречался. Попад в эмиграцию, я услышал об его триумфах в Европе и Америке.



В 1929 году я с моим квартетом пел в Лондоне в одном модном кабаре.

Однажды во время нашего выступления в две-

рях показался Федор Иванович, во фраке и цилиндре. Окружен он был элегантными дамами и блестящими кавалерами.

Услышав русское пение, он подошел к нам, узнал меня и дружески поздоровался.

— Шаляпин... Шаляпин!.. — пронеслось по зале.

Все глаза устремились на него, и в миг были забыты все присутствующие «именитые гости».

А было их в зале в этот вечер немало: принц Уэльский, будущий король Георг VI с женой, принцессой Елизаветой и многие представители лондонского высшего общества.

Когда, по английским правилам, около часа ночи закрылось кабаре, Шаляпин и вся компания перешли наверх в отдельный салон. Прихватили и нас четверых с собой.

Полилось шампанское, а с ним и песни.

Ф. И. уселся на диване, посадил нас по двое около себя, обнял своими широкими, мягкими руками, закрыл глаза и запел.

«Вниз по матушке по Волге». Мы вторили ему. Запел он ведущий голос — мою партию первого тенора в невысоком тоне и окончил песню на таком си-бемоле и таком пианиссимо, о каком мне и во сне не снилось.

В этот памятный вечер Ф. Ив. был на редкость в духе.



В январе 1932 года в Амстердаме была организована «Русская Неделя».

В Драматическом театре играла Пражская Группа Московского Художественного Театра с Греч

и Павловым, в Королевской опере шли гастрологи Шаляпина с труппой Церетелли. На несколько концертов приглашен был и наш квартет.

На первое представление «Бориса» нам удалось попасть благодаря Ф. Ив. Он нас взял с собою, поставил за кулисами среди декораций, а сам пошел проверить сцену.

Из наших кулис мы видели, как на аван-сцене Ф. И. как-то странно махал руками и крепко по-Шаляпински бранился.

Проходя обратно мимо нас, сердито пробурчал: «Что-же они, такие-сякие думают, что я за те же деньги буду им по микрофону на всю Голландию петь. Ну, так я же им все провода и пооборвал».

Много раз я видел и слышал «Бориса», но так близко как в этот вечер еще не приходилось никогда. Каждый жест, малейшее движение каждого мускула запечатлелось в памяти навеки.

Незабываемое чудесное видение!

—о-О-о—

Последний раз я встретил Шаляпина на Больших Бульварах. Был вечер. Он медленно шел, останавливаясь и рассматривая витрины.

На нем была широкополая бархатная шляпа и желтое кашнэ. Прохожие узнавали его и оглядывались.

Меня поразила его бледность.

На мой вопрос о здоровьи, он только вздохнул и заговорил о другом.

Я проводил его до площади Мадлэн, и долго смотрел ему вслед, пока его высокая, но уже слегка сгорбленная фигура, не скрылась в парижских сумерках.

—о-О-о—

Утром, на другой день его кончины, я вошел в комнату, где он лежал.

Кругом никого не было.

Я долго всматривался в черты его лица, спокойного и торжественного.

Я встал на колени, горько заплакал и горячо молился. Я благодарил Господа за то, что Он сподобил меня знать, слышать и видеть Шаляпина.



АДЕЛИНА ПАТТИ

В начале Японской войны в Петербург приехала Патти.

Когда-то это имя гремело не только у нас, но и во всем мире.

Мне не удалось слышать ее, от стариков же слышал, что певица она была необыкновенная, так несравнимо искусство пения тесно сплелось с голосом неземной красоты.

Сцену покинула она довольно рано, вышла замуж за маркиза Ко и навсегда поселилась с ним в Америке.

Но та любовь, с какой встречали ее в России, навсегда осталась у нее в сердце и, когда началась война, она нарочно приехала в Петербург, чтобы в пользу русских раненых дать благотворительный концерт.

Состоится он должен был в Дворянском Собрании, под покровительством Великого Князя Владимира Александровича и обставлялся весьма торжественно и пышно. Задолго все билеты были расписаны.

Помню, как мечтал я попасть на этот спектакль.

В те годы я был пажем, и на мое счастье в корпус прислали для нас, пажей, 2 билета, и мне удалось получить один из них.

Вечер. Идет маленький снежок.

Громадные фонари подъезда Дворянского Соборания ярко освещают толпу народа, тщетно пытающуюся проникнуть в зал.

Конные городовые, жандармы и пристава напирают на людей, освобождая приезд веренице придворных и частных карет и саней.

В зале Вдовствующая Императрица Мария Федоровна и все Великие Князья и Княгини.

Ждут из Царского Государя — но в последнюю минуту дают знать, что он не будет.

Весь большой и придворный свет налицо. Дамы в открытых платьях залиты брильянтами, фраки, эполеты. Из-за присутствия Царской Фамилии все в зале стоят.

Я и еще один паж с трудом пробираемся через блестящую толпу. Великий Князь Владимир Александрович заметил нас, подзывает и приказывает стать у Царской ложи, за спиной Императрицы.

Мы становимся, и с замирающим сердцем любуемся редкой картиной зала.

Но вот из-за кулис доносится звонок и зал мгновенно затихает.

Под руку с солистом Его Величества Н. Н. Фигнером появляется Патти — маленькая старушка, вся седая.

Белое атласное платье заткано серебром, в руках веер из страусовых перьев.

Много я слышал до нее и после, певиц и певцов, но никогда не мог я постичь той чистоты звука,

каким пела она. Голос ее уносил от земли в безбрежные надзвездные выси.

Пела она из Фауста «Арию с жемчугом». Годы сказались, конечно, но искусство и тембр были удивительны.

Все сидели потрясенные. У многих стариков на глазах я заметил слезы.

Требовали знаменитого Алябьевского «Соловья», но она отказалась — уж было не по силам.

Вся эстрада превратилась в цветущий сад от огромных корзин цветов. От Государя ей передан был на голубом бархате золотой венок.

Кроме Патти в концерте еще участвовали старейшие корифеи Русской сцены: оба солиста Его Величества — Н. Н. Фигнер и скрипач Ауэр.

Концерт окончился. Уехала Государыня, а за ней и остальная Царская Фамилия.

А публика все не расходится, все хлопает и вызывает любимого залетного соловья.

Мимо толпы выездных лакеев с горами мехов и шинелей выхожу на улицу.

Снег перестал. Сквозь обрывки скользящих тучек бледная луна озаряет необозримые пространства тех неведомых миров, где только сейчас блуждала моя душа, занесенная туда песней божественной Патти.



ЛИНА КАВАЛЬЕРИ

В Петербург часто приезжали итальянские оперы с лучшими певицами и певцами, а потому я,

страстный поклонник бель-канто, и переслушал почти всех знаменитых певиц и певцов.

Одежды в Суворинском Театре шла «Травиата» Верди, либретто которой написано по пьесе «Дама с камелиями» Александра Дюма, в которой когда то изумляли своей игрой гениальные Сарра Бернар и Элеонора Дузе.

В «Травиате» в роли Виолетты выступала всемирно известная своей красотой Лина Кавальери. Ее небольшой, но совершенной чистоты и обаяния голос и проникновенная игра, с такими партнерами, как Джузеппе Ансельми и Матиа Баттистини, создавали незабываемый и неповторимый спектакль высшего художественного наслаждения.

Умирая в последнем акте, она потрясла весь театр. Плакала публика, плакали музыканты оркестра и не по театральному рыдал у ее ног Альфред-Ансельми.



В ГОСТЯХ У РЕПИНА

Василий Васильевич Матэ, известный гравер, был близок со всей нашей семьей, особенно с дядей моим, художником, для которого он гравировал его батальные картины.

Как профессор Академии Художеств, Матэ, жил в квартире-мастерской при Академии, куда я часто захаживал полюбоваться на его работы, а по воскресеньям полакомиться жирной кулебякой, превосходно приготовленной его милейшей супругой.

В одно из воскресений февраля 1910 года, за завтраком, я познакомился с известным скульпто-

ром Наумом Аронсоном, — невысокого роста, плотным господином с седыми, небрежно закинутыми назад волосами и бородкой à la Napri IV.

Аронсон всегда жил и работал в Париже и теперь приехал в Петербург повидать родных. Кроме того, ему страстно хотелось лепить Репина, а потому Матэ собирался везти его после завтрака в «Пенаты», репинское имение в Финляндии, знакомить с Ильей Ефимовичем.

Репина лично я не знал, но с детства помнил, что он когда-то дружил с моим отцом, и у нас в доме висела большая гравюра его «Запорожцев», причем «письмо кошевого к султану» было полностью выписано рукой самого художника.

Не желая упускать столь редкого случая, я стал просить взять меня с собой, на что добрейший Василий Васильевич охотно согласился.

Наскоро покончив с кулебякой, мы отправились на Финляндский вокзал.

В поезде, кроме нас, ехали к Репину именитые петербургские гости: профессор Бехтерев, адвокат Карабчевский и Ф. И. Шаляпин, в полушубке на серых мерлушках, в такой же шапке и белых валенках.

Вот и Куоккала. День солнечный, слегка морозит. Маленькие, крепкие шведки бойко мчат наши саночки.

До «Пенат» рукой подать.

В причудливом, в русском духе разукрашенном доме в два этажа нас встречает в передней сам хозяин — старичок в тюбетейке и золотых очках.

— Очень рад, очень рад, дорогие гости! — ласково приветствует он нас и тут же знакомит с хозяйкой дома, спутницей его жизни, Нордман-

Северской, высокой худощавой дамой, нервной в движениях и с восторженным взглядом, ярой последовательницей вегетарианства.

По деревянной лестнице поднимаемся наверх в мастерскую. Она небольшая, но вся залита светом. Стены кругом завешаны картинами, эскизами и всевозможными рисунками. У окна на мольберте стоит почти законченный портрет Бехтерева.

Репин усаживает перед ним профессора, берет палитру и кисть и начинает подправлять у портрета глаза. Мы все стоим сзади и с благоговением следим за кистью художника.

Но вот сеанс окончен, и начинается осмотр мастерских. Любезно и охотно Илья Ефимович объясняет и рассказывает историю всех рисунков и этюдов, висящих на стенах и грудями лежащих на полу. От него мы узнаем, что к обеду ждут соседа по имени, писателя Леонида Андреева, обещавшего прочесть свою новую пьесу «Не убий».

Приятный звон бубенцов извещает о его приезде, и мы все спускаемся вниз в столовую встречать модного писателя-драматурга. Он в темной блузе, с широким ременным поясом.

Красивое, точно выточенное из слоновой кости лицо, обрамлено черной шелковистой бородкой. Замечательно умные, проникающие в душу глаза. Всем дружески пожимает руку, а с Шаляпиным долго обнимается.

В столовой громадный круглый стол занимает почти все пространство. В середину стола вделан второй круглый стол, поменьше, разделенный на множество секторов и вертящийся. В этих секторах помещаются блюда с кушаньями. Чего-чего тут нет: вареные овощи, супы из трав, компоты и

всевозможные каши. Всего и не упомнишь! Каждый гость вертит стол и распоряжается сам. Прислуги в доме не было.

После обеда начинается чтение. Воздвигается что-то вроде помоста, на него ставится стол, зажженные свечи и графин с водой. Все рассаживаются поудобнее. У самых ног Андреева примащивается не спускающая с него восторженного взгляда сама хозяйка.

Было около десяти часов, когда Андреев кончил читать. Читал он превосходно, пьеса всем понравилась, завязались нескончаемые споры.

Поздно. Надо дать отдохнуть гостеприимным хозяевам. Прощаемся с ними и пешком отправляемся на вокзал.

Какая ночь! Яркая луна освещает окружный лес. Снег переливается и горит миллионами искр. Ненарушимая тишина прерывается порой дальними свистками железной дороги...



СТАТС-СЕКРЕТАРЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЛОВЦЕВ

А. А. Половцева, бывавшего в доме моих родителей, я помню довольно смутно, но от тетки моей, Марии Васильевны Верещагиной, бывшей замужем за Федором Александровичем Половцевым, я слышал и запомнил многочисленные рассказы из жизни брата ее мужа — видного сановника той эпохи.

Блестяще окончив Училище Правоведения, одновременно с будущим пресловутым Обер-Проку-

рором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым, с которым всю жизнь был связан тесной дружбой, А. А. Половцев поступил в Сенат и вскоре женился на молодой красавице Надежде Юновой, приемной дочери барона Штиглица, придворного банкира и владельца знаменитых суконных фабрик. После его смерти все его многомиллионное состояние унаследовала молодая чета.

Умный, энергичный и тонкий дипломат, Половцев быстро занял видное положение в чиновных и придворных кругах столицы, чему во многом способствовала близкая дружба его и его жены с вел. кн. Владимиром Александровичем. Назначенный членом Государственного Совета, Половцев в звании статс-секретаря почти всецело руководил работами Совета и, пользуясь полным доверием Александра III, был одним из его ближайших советников.

Огромные доходы, которые приносили суконные фабрики, позволяли Половцевым жить на очень широкую ногу, принимать у себя весь петербургский большой свет, а в лесных угодьях Псковской губернии устраивать грандиозные облавы на медведей и волков с приглашенными великими князьями и лучшими стрелками столицы.

В своих мемуарах Половцев не рассказывает об одном, наделавшем много шума, трагическом случае из своей жизни. Большой любитель рулетки, Половцев ежегодно ездил в Монте-Карло попытать счастья. Возил он всегда с собой кожаный мешок, полный золота, с которым не расставался ни днем, ни ночью. Останавливался Половцев в лучшем отеле и вел крупную игру.

Однажды, вернувшись после большого выигры-

ша к себе в отель, он лег спать, положив мешок рядом на ночной столик. Под утро, услышав какой-то шорох, он открыл глаза и увидел около постели мужчину, державшего в руке заветный мешок. Быстро вскочив, он бросился и схватил человека за горло. Началась борьба, во время которой грабитель попал пальцем в рот Половцеву и тот, в порыве азарта, откусил добрую половину пальца. Взвыв от боли, человек, забыв про мешок, бросился вон из комнаты и скрылся.

Всполошился весь отель. Полицию подняли на ноги. Через несколько дней человека с пораненной рукой нашли и арестовали. Он оказался сыном одного высокопоставленного лица в России. Газеты забили в набат... Спешно приехали из Петербурга два его старших брата. Получив разрешение на свидание, они, войдя к нему, молча положили перед ним заряженный револьвер. Честь семьи была спасена.

Больше в Монте-Карло Половцев не ездил. В царствовании Николая II он совсем отошел от дел и умер в 1909 году.

В его лице исчез крупный государственный деятель и блестящий сановник. Его статную фигуру, с красиво посаженной головой превосходно изобразил Репин в своей знаменитой картине «Торжественное заседание Государственного Совета».



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ «СРЕДЫ»

У БАРОНА Н. В. ДРИЗЕНА

Барон Николай Васильевич Дризен, Камергер Высочайшего Двора, был крупной фигурой в Петербургском художественном мире.

Высокий, красивый блондин, он с первого же знакомства производил чарующее впечатление. Был, что называется — шармер.

Служил Н. В. в Управлении по делам печати по театральному отделу и был грозой авторов пьес, драм и водевилей.

Одновременно редактировал он «Ежегодник Императорских театров», что представляло из себя труд весьма солидный и ответственный.

Сам он был театрал великий, тонкий его знаток и всей душой вместе с ним переживал все его успехи и неудачи.

Обладая прекрасным слогом, он был желанным сотрудником журналов и газет и к его критическим статьям по музыке, драме и другим отраслям искусства с интересом прислушивалась вся Россия.

Дом барона был приютом всего красивого и эстетичного и каждый был там желанным гостем, будь то скромный неофит или прославленный артист-художник.

Жил Н. В. на Большой Московской улице, в двух шагах от Владимирского Собора, в большой, со вкусом убранной квартире.

Уже при входе вас охватывало чувство уюта и простоты дружеского приема милого хозяина и его жены Розалии Густавовны.

Так все было не похоже на чопорность и натянутость гостинных большого света.

Раз в неделю по «средам» назначался особый вечер.

То читался доклад по какому-либо животрепещему вопросу, то знаменитый поэт читал свои стихи или вокальные знаменитости услаждали слух своим пением.

Познакомился я с Дризенем в самом начале войны и в первую же среду был приглашен вместе с братом участвовать у них на вечере.

Гвоздем вечера был, как сейчас помню, бас Мозжухин, певший под аккомпанимент своей жены, Клео Карини.

10 ч. вечера. Брат и я звоним у дверей квартиры. В гостиной уже человек 15. Одеты все запросто, мужчины в пиджаках. Выделяется фигура Мозжухина, с гривой волос и длинной шеей выступавшей из уродливого воротника-брызжей.

На диване, рядом с хозяйкой дома, замечаю плотную фигуру известного писателя и поэта Федора Сологуба. Седые волосы острижены под гребенку, на носу поблескивают большие круглые очки.

Первое отделение — литературное.

После небольшого вступления хозяина, Сологуб медленным ровным голосом прочел несколько своих стихотворений. Затем всех приглашают в столовую пить чай запросто — с бутербродами.

Вечер закончился музыкой и пением.

В начале революции, пока было возможно, «Среды» процветали.

Энергия и трудоспособность Н. В. были неукротимы и нельзя не упомянуть и не поставить ему в заслугу устройство в Петербурге «Старинного Театра» вместе с Н. Н. Евреиновым.

К сожалению, за недостатком средств не суждено было ему долго продержаться. Жаль! Ценный был вклад в театральное дело.

В начале революции, Дризенам удалось покинуть советский рай и в 23 году я с ними уже встретился в Париже, где Н. В. так-же неустанно хлопотал по разным театральным делам.

Недавно я прочел книгу воспоминаний князя С. М. Волконского, быв. директора Императорских Театров. В ней он упоминает о знаменитых Дризенских бутербродах и духоте помещения.

Очень жаль, что у кн. Волконского от художественных «Сред» только и осталось, что воспоминание о бутербродах.

Столько в этих «Средах» было света и горения к любимому делу, что этот свет застилал все будничные мелочи.

Но слона можно иногда и не приметить.



ПЕРВЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ ШАГИ

В 1910 г. начал я брать уроки пения у профессора И. С. Томарса, — в прошлом прекрасного тенора и тонкого музыканта.

Его маленький рост всегда служил роковым препятствием в его карьере и он рано бросил сцену и всецело отдался педагогической деятельности.

Учеников у него было множество и среди них уже певшие на сцене и с большими именами.

Двое — Виттинг и Александрович — пели в Мариинском театре.

Голосом своим Томарс владел в совершенстве

и мог блестяще показать исполнение той или другой оперной партии и арии.

Раз в неделю у него устраивались музыкальные вечера, на которых все ученики и ученицы, под управлением Саминского, впоследствии известного композитора и дирижера, распевали целые оперы.

На второй год после учения и я стал принимать деятельное участие в оперных ансамблях.

Голос у меня был не большой, но, как многие находили, приятного тембра. На большую карьеру не приходилось рассчитывать и, хотя я это сам и сознавал, однако, влечение было так велико, что я продолжал упорно и прилежно заниматься.

В этом громадную роль сыграл мой младший брат Василий (сконч. в 1920 г.).

Замечательно способный музыкант и блестящий аккомпаниатор, он учился в консерватории и последние годы занимался в классе композиции у самого А. К. Глазунова.

Бывая постоянно в доме своих друзей Фельдберг, я в их доме познакомился с Шаляпиным, Давыдовым, Липковской и Н. Н. Фигнером.

О последнем мне хочется сказать несколько слов. Солист Его Величества, Николай Николаевич Фигнер — знаменитый певец, в то время уже покинул сцену и возглавлял, как всемогущий директор, Оперный Театр Народного Дома имени Императора Николая II.

Ему удалось привлечь лучшие силы русских певиц и певцов и создать наряду с Мариинским образцовый оперный театр.

У него в театре часто гастролировал сам Шаляпин и также Собинов, Алчевский, Камионский, а кроме того в посту давались спектакли с приезжи-

ми итальянцами, как Баттистини, Ада Сари, Баронат и другими знаменитостями.

Спектакли были поистине блестящи и проходили при полных сборах.

Иногда выступал и сам Фигнер, хотя уже и с потерявшим свой блеск голосом, но все с тем же мастерством и вкусом.

В конце четвертого года моих вокальных мучений и сделав солидные успехи, уже очень мне захотелось попробовать себя на настоящей сцене. Вызубрив на зубок с братом партию «Баяна» из Руслана и арию Фауста, я в одно утро, с замирающим сердцем отправился в Народный Дом просить Фигнера прослушать меня.

Принял он меня чрезвычайно предупредительно и любезно наверху в небольшой пустой комнатке, специально предназначенной для пения.

Позвал концертмейстершу и приготовился слушать.

— Вы, батенька, не волнуйтесь, а пойте как у себя дома — улыбаясь своими красивыми глазами, говорит он мне.

Я с трепетом подхожу к роялю и открываю Руслана.

При первых же звуках Фигнер останавливает меня: — Это вы оставьте, это не трудно, а вот спойте-ка мне каватину Фауста — она нам все и выяснит.

Делать нечего. Ставлю ноты и начинаю петь.

Каватина всегда была моей любимой вещью и я часто ее пел на концертах, а потому спел прилично.

Фигнер, повидимому, остался доволен.

— Вот что — говорит он, обращаясь ко мне. —

Теперь уже конец сезона. Приходите в августе и я вас возможно устрою, только не рассчитывайте на что-нибудь особенное. Сначала будете петь вторые и даже третьи партии, ну, а там видно будет, может быть доберетесь и до первых.

Прямо от него, не чуя под собой ног, помчался я к Томарсу с радостной вестью.

Увы! Мне жестоко не повезло.

Перед самым началом сезона, Фигнер поссорился с попечителем Народного Дома — принцем Ольденбургским — и ушел из театра.

Так мне и не пришлось попеть никаких ролей.

—o-O-o—

КАК Я СНИМАЛСЯ

В те далекие времена, 1906-07 — кинематографическое дело в России стояло не особенно высоко.

В Москве, правда процветал Хонженков, создавший таких актеров, как Мозжухин, Вера Холодная, Максимов и многих других.

В Петербурге же общества только еще нарождались.

Вот, в одно из таких новорожденных дел, основанных моим товарищем по корпусу В. А. Адлербергом, вышедшим в отставку из Уланского Ее Величества полка, я и был приглашен в качестве актера.

Сценарий первого фильма «Мертвая петля» был написан Н. Н. Брешко-Брешковским из цирковой жизни.

Главная же роль была поручена гремевшему

в то время опереточному певцу Юрию Морфесси.

В нем я изображал небольшого персонажа.

Сейчас, при гигантских шагах, которыми шествует кинематографическая техника, просто смешно вспомнить о тех примитивных и наивных способах съемок применявшихся тогда. Но все-же этот доморощенный фильм имел шумный успех и обошел всю Россию.

Повидимому, в своей маленькой роли я преуспел и был одобрен, потому что в следующем фильме мне дали роль самостоятельную и ответственную.

Горд я был бесконечно, тем более, что играть приходилось с бабушкой русской сцены — артисткой Варварой Васильевной Стрельской.

Было ей тогда за семьдесят лет и готовилась она справлять свой шестидесятилетний юбилей царствования в Императорском Александринском Театре.

Уважая ее почтенный возраст и не желая беспокоить, съемки производились у нее на даче на станции Лигово, в 20 верстах от Петербурга.

Там Варвара Васильевна постоянно жила окруженная внуками и правнуками, изредка выезжая в столицу на редкие спектакли с ее участием.

Маленькая, толстушка, говорившая басом и тонко знавшая и постигшая всю красоту русского языка, старушка Стрельская была несравнима.

Помню как ласково встретила и приголубила она меня, неопытного новичка.

Каким теплом и нежностью звучали ее слова и ценные для меня указания.

Приезжали мы все в Лигово рано утром.

В уютной столовой нас ждал кипящий самовар

и милая хозяйка выбивалась из сил угощая и под-
чуя нас всевозможными домашними печеньями
и соленьями.

Снималась она впервые, а потому волновалась
несказанно.

Всегда недовольна была своей игрой и про-
сила не обижаться на нее — старуху.

Весь век прожившая в старых традициях те-
атральных заветах, она пуще огня боялась всяких
новшеств, а «особливо» вольностей.

Так по ходу пьесы когда я должен был душить
ее ночью в постели, она наотрез отказалась лечь в
нее. — Я, батюшки мои, 50 лет играю на театре и
никогда перед публикой не раздевалась, так неуже-
ли на старости то лет приму этот срам, — заявила
она нам, и чуть не расплакалась.

Насилу мы ее успокоили.

Душил уж я ее, посадив в халате в глубокое
кресло.

Увы! Общество мое скоро прогорело и лопну-
ло, и картина так и осталась неоконченной.

А жаль! Очень уж мне хотелось показаться с
великой артисткой земли русской.

Как далекое воспоминание о встрече с Варва-
рой Васильевной, хранится у меня подаренный ею
мне портрет с трогательной надписью.

—о-О-о—

Бывал я также и у другого великана русской
сцены — Константина Александровича Варламова.

Жил он на Загородном проспекте со своей пле-
мянницей, заведывавшей всем хозяйством.

Варламова знал и любил весь Петербург и чуть

ли не каждый' день собирались пировать на его лукуловских завтраках и обедах, на которых подавались огромные поросята и аршинные стерляди. Хлебосол Варламов был великий.

Прислуживал Константину Александровичу его верный лакей — карлик.

—о-О-о—

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Война застала меня в Гунгенбурге, где я проводил лето с матерью и братом.

Гунгенбург прелестное местечко недалеко от Нарвы и в четырех часах от Петербурга.

Беспредельное море, сосновые леса и песчаный пляж, растянувшийся на много верст.

Знакомых было множество и время проводили мы в нескончаемых пикниках и любительских спектаклях.

Ничего не предвещало мировой катастрофы.

В первые же дни и при первой возможности мы вернулись в Петербург.

Я, как белобилетчик, не подлежал призыву в действующую армию, а потому решил устроиться в одну из тыловых организаций.

Поступил я в Военную Цензуру при Петербургском Военном Округе. Находилась она при главном почтамте и попасть туда было не легко.

Дело было серьезное, секретное и требовались солидные рекомендации в благонадежности.

Для меня эти препятствия особенной трудности не составляли и я вскоре был зачислен туда как военный цензор.

Работа, хотя и несложная, но была чрезвычайно кропотливая.

Необходимо было просматривать сотни тысяч писем и бандеролей доставлявшихся к нам в громадных корзинах из Главного Почтамта.

Все подозрительные письма задерживались и отправлялись в особую Главную Комиссию.

Собирались мы в Цензуру рано — к 9-ти часам, работали до 12 ч. и с 1 ч. дня, иногда до позднего вечера. Были установлены ночные дежурства.

Получал я за свою работу 5 рублей суточных а после полу года службы был представлен к моему первому ордену Станиславу 3 степени, а еще через пол года и к Анне'

Такая однообразная служба в конце концов не могла не надоесть и я стал хлопотать о переводе в главное управление Кр. Кр. Северного Района.

Помещалось оно на Литейном проспекте, против Кирочной, в доме Гр. Мусин-Пушкина. Во главе стоял шталмейстер Высочайшего Двора Ал. Дм. Зиновьев.

Помощником его был гр. Дмитрий Иванович Толстой — директор Эрмитажа.

Управление Сев. Района было на виду, а потому в него стремились люди желающие сделать карьеру и получить награды.

Почти все были титулованные с громкими именами и в придворных званиях.

Назначен я был чиновником для распоряжений при Главноуправляющим с откомандированием делопроизводителем в Наградное Отделение, помещавшееся в том же здании.

В его ведении находились лазареты и госпитали для раненых всего Сев. Района и во главе

каждого из них стояли генералы или полковник, почти все из запаса.

В нашем отделении их постоянно толпилось бесчисленное количество за всевозможными справками и указаниями.

Любопытно было наблюдать, как какой-нибудь почтенный генерал любезничал с нами и почтительно просил о скорейшем продвижении его представления к награде.

Раз в неделю дежурил я при Главноуполномоченных.

В большом кабинете происходили многолюдные заседания высших краснокрестных «сановников» и мы, дежурные, как церберы, должны были охранять их покой.

Часто посещал наше Управление пресловутый член Государственной Думы В. М. Пуришкевич.

Энергичный уполномоченный большого передового отряда, он отличался чрезвычайным упорством и настойчивостью в своих требованиях медикаментов и каждый его приезд доставлял нам не мало забот и хлопот.

За мою почти двухлетнюю службу в Красном Кресте я был награжден знаком Красного Креста.

—о-О-о—

ПОЕЗДКА НА ФРОНТ

Приблизительно за год до революции состоя в распоряжении Главн. Уполн. Кр. Кр. Север. Района шталмейстера А. Д. Зиновьева, я получил предложение перейти в Управление по делам помощи беженцев. Управлял этим учреждением сенатор С. И. Зубчанинов.

Хаос и беспорядок царили там неимоверный, но условия были отличные и я согласился.

Назначен я был помощником уполномоченного передового санитарного отряда имени Вел. Княгини Елизаветы Федоровны.

Отряд был большой: сестры милосердия, санитары, до 200 лошадей и имелась даже своя походная церковь. Отряд находился на передовых позициях под Ригой, куда я, получив подъемные и обмундировавшись по военному и выехал в начале мая.

Напутствуя меня, Зубчанинов строго приказал подтянуть творящиеся безобразия в отряде и обещал назначить меня начальником ввиду скорого смещения его уполномоченного.

Еду через Псков. Пассажирский поезд ползет как черепаха, останавливаясь на каждом полустанке. Эшелоны с войсками все время обгоняют нас, торопясь к Риге, где готовится большое наступление.

До Пскова едем целые сутки, там мне пересадка в воинский поезд.

Я в защитной шинели при шашке и револьвере. В Пскове делаю остановку и иду навестить кое-кого из Краснокрестных товарищей, командированных сюда из Петербурга.

Обрадовались они мне страшно. Угощают обедом и катают на автомобиле.

В Пскове ставка Главнокомандующего фронтом ген.-адъютанта Куропаткина.

После злосчастной Японской войны он был не в милости и не у дел.

В начале Великой войны он умолил Государя назначить его в действующую армию.

Государь согласился и дал ему Гренадерский Корпус, а затем сделал главнокомандующим Северного фронта.

Удивительный человек был Куропаткин.

Огромной военной эрудиции, большого боевого опыта, но незадачливый.

Все прислушивался что скажут «свыше» и боялся проявить свою инициативу.

Насколько он был хорошим начальником штаба при Скобелеве, настолько оказался беспомощным в самостоятельной роли.

Большой личной храбрости, будучи главнокомандующим бессмысленно лично водил полки в атаку на японцев и вникая в хозяйственные мелочи, упускал главное руководство над армией.

Иду в главную квартиру представляться.

На площадке у подъезда Губернаторского Дома парные часовые с шашками наголо.

В приемной народу много — все генералы.

Молодой высокий адъютант спрашивает мою фамилию и по какому делу. Я прошу доложить, что Верещагин, сын Александра Васильевича, хотел бы видеть генерала.

Адъютант, пожав плечами, нехотя скрывается.

Спрашиваю разрешение у старшего по чину и скромно промашиваюсь на стуле у двери.

Проходит так с половину часа. Входит тот же адъютант и громко объявляет, что приема сегодня не будет, затем подходит к мне и любезно передает, что его Высокопревосходительство просит меня к 6-ти часам к обеду.

Все невольно поворачивают голову в мою сторону.

— Что, думают за птица? Какой-то юноша и в такую чест: попал.

К 6-ти часам прихожу. Меня сразу проводят в кабинет.

За большим столом заваленным бумагами сидит Куропаткин в серой тужурке с Георгием на шее. Он все такой-же, только борода стала длинее и совсем седая. Знакомое милое лицо. Узкие глазки ласково смотрят на меня.

— Здравствуй Володя! Ты что здесь делаешь?

Я докладываю о своей поездке и прошу извинить меня за мое горячее желание его повидать. Ну, пойдем обедать. — Обед простой, щи, каша и кусок жареного мяса. Ни водки, ни вина, только чай. Я с интересом спрашиваю его о его сыне Алеше — моем приятеле.

После обеда откланиваюсь.

— Ну, Христос с тобой — говорит на прощанье генерал и дружески по отечески меня обнимает.

Простившись со своими краснокрестными приятелями, еду на вокзал и с трудом разыскиваю свой воинский полу-товарный поезд. Тащусь двое суток и наконец попадаю я в Ригу.

По дороге нас обогнал экстренный поезд. В нем ехали Главнокомандующий фронтом и Вел. Князь Кирилл Владимирович.

На платформе вокзала выстроился почетный караул. Куропаткин и Вел. Князь идут вдоль фронта и здороваются. Большая свита следует за ними.

Я стою в стороне и наблюдаю.

Первое, что я увидел, выйдя с вокзала — это целый транспорт привезенных раненых.

Верстах в 50 от города шли большие бои, о чем напоминала нескончаемая оружейная канонада.

Перед лазаретом останавливается открытый фургон.

Два санитары выносят на носилках раненого.

Я подбегаю и помогаю нести.

Тяжелое ранение — живот весь вспух и возвышается горой. Сквозь бинты просочилась кровь. Раненый молчит стиснув зубы, устремив усталый от боли взгляд в пространство.

Без помощи санитары соскакивает с фургона солдатик совсем мальчик. Он дико кричит и машет рукой, обмотаной марлей. Ему оторвало указательный палец.

Его крики неприятно действуют на окружающих.

Я подхожу и начинаю стыдить его, указывая на тяжело раненого.

Он смолкает и опираясь на руку сестры милосердия, уныло плетется в перевязочную.

С трудом отыскиваю я местное управление Северо-Помощи.

Помещалось оно в каком-то средневековом замке.

Принимает меня начальник. Громадного роста, толстый, без признака растительности на голове и лице — полулежа в кресле.

Беспорядок здесь еще хуже чем в Петербурге.

Я являюсь и предъявляю свои бумаги.

— И охота вам лезть в это пекло, — хриплым голосом говорит «сановник!» — Оставайтесь в Риге, у нас здесь превесело, — с трудом поворачива-

ется в кресле, просматривает мои бумаги и сокрушенно качает головой.

Я благодарю, но отказываюсь от любезного приглашения и прошу указать точное местонахождение моего отряда.

Обещает утром дать ответ.

Уезжая из Петербурга мне не удалось откланяться моему бывшему начальнику Кр. Кр. Зиновьеву. Он был в отсутствии и объезжая вверенный ему Северный Район находился как раз в Риге.

Являюсь ему. Александр Дмитриевич, как всегда, любезно встречает и расспрашивает куда и кем я назначен. Я подробно объясняю ему.

Он чрезвычайно был удивлен услышав от меня о моем назначении.

Оказывается мой передовой отряд с полгода как перешел из ведения Зубчанинова в Управление Кр. Кр. и Зиновьев только накануне был и осматривал его.

Положение создавалось преглупое. Досадовал я ужасно.

— Вот что, — говорит Ал. Дм. — Завтра сюда приезжает С. И. Зубчанинов. Я с ним поговорю. Приходите к 1 час. дня, мы вместе все и обсудим.

Делат: нечего. Возвращась к моему толстенному «сановнику».

Встречает он меня радостно, как старого друга, знакомит с подчиненными и приглашает пообедать.

Действительно, жили они превесело: и хорошая закуска и водка и всевозможные вина. Даже не верилось, что это все в полсотне верст от немецких окопов.

Пировали мы далеко за полночь.

На следующий день, к назначенному часу при-

хожу к Зиновьеву в Кр. Кр. и прошу доложить о себе. В кабинете у него Зубчанинов. Жмет мне руку и говорит: — Уж вы, батенька, извините, черт знает что там делают у меня в Управлении. Я и сам ничего не знал.

— Что же мне теперь делать? — спрашиваю я.

— Да возвращайтесь в Петербург, будете пока состоять при мне, а там что-нибудь и придумаем.

— Ваше Превосходительство, я должен был в отряде получить причитающиеся мне деньги, как же я теперь доберусь домой?

— Ну, это не страшно, — улыбаясь говорит Зубчанинов; достает из бумажника 200 руб. и протягивает их мне.

Откланявшись обоим начальникам, я в тот же вечер пассажирским поездом уехал обратно в Петербург, так и не побывав на передовых позициях.



В Петербурге Зубчанинов устроил меня вместо фронта в обоз.

Это учреждение находилось в распоряжении Петербургского Военного Округа.

В награду за мой «позор», мне сохранили фронтовой оклад и звание помощника уполномоченного.

Определили меня по казначейской части.

Каждое утро к моему дому подавалась мне пара лошадей и я целый день разъезжал по всевозможным учреждениям, развозя и получая деньги. Так продолжалось несколько месяцев, до самого февраля.

В начале революции Северо-Помощь распалась и с нею вместе разбрелись и все ее сотрудники.

ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Встретил я революцию не радостно, и красного банта на грудь не нацепил. И в этом отношении моя совесть осталась чиста.

Не будучи офицером, я мог свободно обменять свою форму военного чиновника на штатское платье. Что я и сделал.

Жить становилось все труднее. Цены на все росли с головокружительной быстротой.

Приходилось подумывать об изыскании средств к существованию.

Началось повальное бегство из Петербурга и кто могли уезжали за границу, а другие в Крым, на Кавказ или прятались по своим имениям. Спешно ликвидировались богатые квартиры. На рынок выбрасывались вещи большой ценности. Сперва громоздкие, как мебель, картины, бронза и фарфор, а затем дошла очередь и до бриллиантов.

Появилось новое амплуа — комиссионера. Имея большой круг знакомых, я сразу попал в самый водоворот подобной деятельности.

Петербургские и приезжие из провинции антиквары как шакалы напали на русскую знать и, часто пользуясь их неопытностью за гроши скупали накопившиеся веками богатства.

Своей специальностью я выбрал картины, как новой так и старой школы.

Сотни и тысячи прошли они через мои руки.

В самом начале судьба меня свела с петербургским антикваром К. А. Александровым.

Наредкость милый и порядочный человек. Мы с ним дружески сошлись и все пять лет проведенных мною во время революции в Петербурге, вплоть до

моего отъезда за границу, я работал под его руководством.

В живописи, он был тонким знатоком и его постоянные указания сделали то, что я, к концу моего с ним сотрудничества, стал сам недурно разбираться в голландской и фламандской школах и мог отличить «фальшивку» от подлинного произведения искусства.

Работал я с Александровым на процентах, но часто покупал и за свой страх и риск и почти всегда безошибочно.

Продавать же приходилось, главным образом, приезжим шведам и финляндцам, наводнившим в то время Россию в поисках редких вещей. На их валюту в переводе на русские деньги приобретали они все за гроши.

В Москве дела шли еще бойчее и я несколько раз нагрузившись «товаром» ездил продавать туда.

Однажды в одном доме увидел я старую картину на дереве.

Засиженная мухами, она была грязна до нельзя.

Купив ее за какие-то пустяки, я вернувшись домой, стал отмывать ее и чистить.

Под слоем пыли и грязи стали выявляться чудесные краски, а затем и сама подпись художника Саломона Конинга — одного из учеников Рембрандта.

Получил я за нее в Москве 100 англ. фунтов. По тому времени сумма внушительная.

—o-o-o—

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

С детства я жил в Петербурге. Укоренившейся привычкой моей была ежедневная молитва в Казанском Соборе. Куда бы ни спешил, — все тянуло зайти и поставить свечу перед чудотворной иконой. А когда исчезли свечи, — осталась только одна горячая молитва.

Шел 20-й год. Город вымирал. Кругом осквернялись и грабились святые храмы. Посетителей в соборе становилось все меньше.

Куда-то исчезли висевшие прежде на стенах древние знамена. С медных досок исчезли тяжелые связки ключей от покоренных российской армией городов.



Кончался март. Таял снег, лежавший громадными почерневшими кучами на улицах.

В один из таких дней, часов около четырех, подошел я к собору. Двери были заперты. Перед ними стоял свирепого вида чекист, в кожаной куртке, с наганом в руке. Несколько жалких, одетых в лохмотья старушонок волнуясь, толпились у входа: между ними — отставной генерал в выцветшей, со следами красной подкладки, шинели.

Подхожу и с опаской спрашиваю чекиста о причине закрытия храма. Тот молчит, сумрачно поглядывая на меня. Пронзительные глазки зло поблескивают из-под козырька его фуражки.

Я повторяю свой вопрос.

— Отойди, товарищ, — ломаным языком шепелявит он и грозно потрясает наганом.

Старушки обступают меня и, захлебываясь,

сквозь слезы, наперерыв спешат рассказать, как приехавшие на грузовиках комиссары с утра хозяйничают в соборе, снимая все святое и ценное. Тоской сжимается сердце.

Но вот дверь распаивается, и вереница людей в кожаных шапках и куртках, с револьверами за поясом, выходят на свет. Нагружен каждый из них до отказа, — кресты, Евангелия, чаши и всевозможная церковная утварь. Шествие замыкают какие-то люди, тянущие волоком серебряные листы сорванные с иконостаса. С шумом и грохотом спускаются они по ступеням паперти к ожидающим грузовикам, сваливают все туда и исчезают со своей добычей.

Я первый вошел в храм. Сквозь узкие окна длинными полосами пробивались лучи заходящего солнца. От пыли трудно дышать. Весь пол усеян гвоздями, окурками, всяким мусором...

Бросаюсь к чудотворной иконе. Она висит на месте, вся обнаженная, с ободранной ризой. Великая скорбь на Ней, и только глаза Владычицы смотрят еще глубже и строже. Стекло разбито и место венца, усыпанного драгоценными камнями, темнеет давящею пустотой.

Царские Врата и оба притвора оголены совсем. Тяжелый оклад, выкованный из серебра, с корнем вырван и унесен. Где не могли оторвать от гвоздей клещами, ломали по живому месту. Обрывки серебра с печальным звоном хрустели под ногами.

Образа — письма великих русских художников — ярко выступали в пыльном полумраке.

Все, кто был в Соборе, заплакали и опустили на колени.

Перепуганные служители храма бежали. При-

шли два-три священника, принесли святой воды и стали мыть и очищать святыни, оскверненные преступными руками.

Прошли года! Многое забылось, стерлось в памяти. Но скорбный лик Казанской Божией Матери я свято берегу в своем сердце.

—о-О-о—

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ

19 — 20 — 21 г.г.

Как раз напротив моего дома, на Бассейной улице, где я жил, помещался в особняке с прилегающим к нему садом Дом Литераторов.

Основанный группой журналистов и людей причастных к литературе, Дом Литераторов являлся счастливым оазисом в той пустыне, какой в те времена представлял собой Петербург.

Не могу без глубокой благодарности вспомнить сколько раз в трудные дни холода и голода он спасал своим теплом, лаской и приютом.

При доме была столовая, открытая с раннего утра до позднего вечера, где организованы были обеды.

Кормили соответственно времени из достающихся продуктов.

Одно время в продолжение нескольких недель «угощали» похлебкой из китового мяса и жира!!!

Все что оставалось интеллигентного в городе стремилось попасть в гостеприимный дом на Бассейной.

Во главе его стояли люди энергичные и, главное, честные и дело шло великолепно.

При доме был кооператив и мы все члены его постоянно получали, смотря по сезону, яблоки, овощи, повидлу, мед и всякие «деликатессы», с трудом получаемые с юга.

Летом большую часть дня проводили в саду.

Завязывались знакомства, делались дела, и мечтой каждого из нас было, закончив повседневные хлопоты, в кругу друзей и знакомых, за стаканом чая, (часто без схара) поговорить и посетовать на тяжелые времена.

Старейшим литератором в Доме почитался Василий Иванович Немирович-Данченко.

Всегда любезный и приветливый, одетый, несмотря на общее оскуднение, с изяществом, он пользовался общей симпатией и любовью.

Как корреспондент во время Турецкой войны, он подружился с моим отцом, скобелевским ординарцем и дядей — художником и потому относился ко мне с особой нежностью.

Платил я ему от души тем же.

Обедали мы всегда вместе и вокруг нашего стола собиралось всегда внушительное общество послушать рассказы Василия Ивановича из его красочной скитальческой жизни.

Часто в Доме устраивались концерты и лекции.

Запомнилась вдохновенная лекция о Пушкине, прочитанная Александром Блоком.

Так же вспоминается симпатичная фигура поэта Гумилева, расстрелянного большевиками.



СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ

Девятнадцатый и двадцатый годы были самыми тяжелыми.

Отсутствие продуктов и запрещение частной торговли создавали отчаянный голод.

Ни за какие деньги ничего нельзя было достать.

Правда, были кое-какие тайные спекулянты, которым удавалось привозить от пригородных крестьян муку, крупу и другие припасы, но визиты к ним были сопряжены с риском ареста в устраиваемых там засадах.

Казенные лавки по карточкам выдавали овес, льняное масло, мороженный картофель и хлеб с мякиной.

Но нашлись ловкачи, которые всякими правдами и неправдами доставали лишние карточки и у некоторых появлялось на руках по 15-20 штук.

Приспособился к этому и я, и сознаюсь, что ни мало от этого не страдал. Слишком омерзительная была царящая власть, да и голод загасил последние искры совести.

Но вот однажды на рынке появились китайцы с чудесными кусками телятины. Конечно, все моментально было раскуплено, и я сам с радостью принес домой давно невиданное угощение.

Но скоро стало известно, что весь рынок оцеплен войсками и все китайцы арестованы.

Предприимчивые «ходи-ходи» решили угостить голодных петербуржцев «свеженинкой» ежедневно массами расстреливаемых в Петропавловской крепости.

Жить стало невыносимо жутко.

Свирепствовал знаменитый чекист Петерс.

Круглые сутки шли расстрелы и все население притаилось по своим норам.

Ночью по городу с гудками носились автомобили с вооруженной до зубов советской опричной, производившей повальные обыски.

Заниматься спекуляцией стало опасно.

Предательства и доносы случались на каждом шагу, но надо было жить, по звериному, существовать, и страх и осторожность отходили на задний план.

Однажды в доме не было ни денег, ни дров, ни куска хлеба; на дворе лютый мороз.

Утром рано вышел я на улицу и остановился, не зная что делать и куда идти.

Был у меня знакомый мичман. Скрывался он у своей тещи на Моховой и, имея связь с Мурманском, получал оттуда тайком спирт.

К нему то я и направился.

На мое счастье он был дома и еще только накануне получил ведро спирта.

На Невском, у Николаевского вокзала, жила у меня знакомая баба спекулянтша и я имел от нее строгий наказ раздобыть ей этой живительной влаги.

Уложив в 2 чемодана четыре бутылки, тихонько выношу из подъезда и минуя Семеоновскую церковь выхожу на Литейный проспект.

Народу кругом мало.

У Жуковской улицы вдруг из-за угла показывается вооруженный патруль и направляется в мою сторону.

Завидев мои чемоданы, старший машет мне рукой и велит остановиться.

Теперь, вспоминая это, волосы шевелятся у

меня на голове, но тогда все было так безразлично, зная малоценность своей жизни.

А за спирт, — на месте расстрел!

Но судьба как видно хранила меня.

Пока я стоял, поставив на землю свои чемоданы, вдруг слышатся отчаянные крики и из ворот дома выбегает окровавленный человек и как ветер проносится мимо. Следом за ним в припрыжку, с блестящими ножами, мчатся двое.

Патруль круто поворачивает и пускается со всех ног в догонку за ними.

Путь был свободен. Я благополучно донес спирт, получил деньги и вернулся домой.

Теща моего мичмана, в «прошлом» княгиня, была дама энергичная и занималась делами — спекулировала валютой и царскими деньгами.

Как-то просила она меня принести ей английские фунты и заранее назначила за них свою цену.

Раздобыв несколько фунтов, отправляюсь к ней.

Недалеко от подъезда ее дома встречаю знакомого, тоже спекулянта. — Фунты есть? — Есть. — Почему? — Столько-то. — Давайте. Вот деньги.

Цену дает вдвое.

Туж же, зайдя в подворотню передаю фунты и получаю от него полный расчет.

Не заходя к князгине, возвращаюсь к себе.

И что же! Слепое счастье и тут спасло меня.

С утра у нее была засада, арестовывали всех проходящих.

Впоследствии, многие по громкому Таганцевскому делу были расстреляны, а сама хозяйка просидела в тюрьме больше трех лет.

И там же скончалась.

ДОМАШНИЕ КЛУБЫ

В то время в большой моде были домашние клубы.

В кругу друзей процветала «железка».

Ходили из дома в дом. Сегодня к одному, завтра к другому.

Собирались не более 10 человек. Опасность была большая, т. к. власти жестоко преследовали всякие частные сборища.

Хозяин дома играть не садился, а с трепетом дежурил у окна, чтобы при первой опасности обыска поднять тревогу.

В его пользу отчислялось с банка 10%, что к концу вечера, а иногда и ночи составляло приличную сумму.

Многие, рискуя арестом, частенько устраивали у себя игру и существовали на «банковские» деньги.



ШУРЫ-МУРЫ

Петр Николаевич Осипов, камергер и видный чиновник при Государственном Совете, а также богатый помещик, к 20-ым годам, оказался в весьма стесненном положении.

Управляющий из имения ничего не присылал. Банки были закрыты.

Счастливо избежав революционных волн, Петр Николаевич с женой Татьяной Васильевной, тремя сыновьями, не успевших из-за событий окончить свое образование в Правоведении, и дочерью двадцатилетней красавицей Мурой, продолжал жить, в

полном бездействии, в своей большой квартире на Воскресенском проспекте весьма теперь запущенной и нетопленной.

Все это, не мешало по старому гостеприимству, принимать у себя знакомых и даже мало знакомых, делясь с ними последним куском хлеба.

Но энергии было хоть отбавляй и особенно у Муры, которая взяв себе в компанию близкую подругу Шуру и, наняв небольшое помещение открыла для своих близких и друзей ресторанчик «Шуры-Муры».

Работа закипела. Молодежи было поручено доставать, хотя бы из под земли, продукты, Мама — готовила, Шура и Мура обслуживали клиентов, а папе поручили кассу, где он величественно восседал, все еще себя чувствуя камергером и сановником.

В то время, в Петербурге оставалось еще ни мало «буржуев», с удовольствием ходивших в «Шуры-Муры», где было так тепло, уютно, и так вкусно кормили.

Но увы! Всему приходит конец. С продуктами становилось все труднее, тем более, что их львиная часть уничтожалась самими же хозяевами, а также почти каждодневные споры с клиентами хлебосольного кассира, с возмущением восклицавшего: «Что вы, что вы Ваше Высокопревосходительство, в моей доме платить за обед. Какой срам! Это недопустимо, милости просим! Всегда счастливы и рады!»

Надо ли говорить, что при таком ведении хозяйства «Шуры-Муры» после двух месяцев печально окончили свое существование.



«ОПЕРЫ И КОНЦЕРТЫ»

М. Ф. Андреева, разведенная жена Максима Горького, сама актриса, видя постепенный распад театрального дела, организовала в Петербурге театральное общество, под кратким названием ПТО, и стала сама во главе его.

Общество разделялось на несколько секций: оперную, драматическую, кинематографическую и еще др. более мелкие.

Каждая секция обслуживала не только Петербург, но и его окрестности.

Я устроился в оперную секцию.

То по железной дороге, то по-просту на грузовиках возили нас по всевозможным заводам, приютам и госпиталям, где мы концертно, под рояль, исполняли отрывки из разных опер.

Артистов набирали кого попало и подчас исполнители никогда не видали и не знали друг друга.

Платило ПТО соразмерно качеству артиста.

Кроме того после каждого выступления артистам от учреждения предлагалась убогая закуска или чай.

Этого момента все ждали с нетерпением.

С пожарной скоростью отпевался концерт, чтобы поскорей налететь на стол и поживиться чем-либо съестным. Уж очень были все голодны.

Не обходилось и без курьезов.

Так, например, я был командирован с одной певицей и пианисткой в детский малолетний приют, где пришлось выступать перед 30-40 детьми от 2-5 лет, с их няньками и кормилицами — простыми бабами.

Концерт все время прерывался плачем и визгом

малышей, по-своему реагирующих на наше вокальное искусство.



ОБЕР-ГОФМАРШАЛ ГРАФ П. К. БЕНКЕНДОРФ

В одном из моих скитаний по городу случилось мне попасть в большой особняк на Марсовом Поле.

Изстаре принадлежал он Светлейшим Князьям Салтыковым.

Прослышав, что какой-то старик что-то продает, я заглянул туда.

Через длинную анфиладу пустых, а когда-то роскошных зал, древний старичок швейцар подводит меня к небольшой двери на III-м этаже.

Несколько раз стучу. Ответа никакого. Нажимаю на ручку двери и попадаю в комнатку в одно окно.

Вижу ко мне спиной, склонившись над примусом жарит что-то на сковородке одинокая фигура в старом рваном военном пальто.

Хозяин комнаты, вздрогнув при моем появлении, поворачивается ко мне и испуганно смотрит на меня.

В глазу поблескивает монокль.

Едва мог я себя сдержать, чтобы не вскрикнуть.

Передо мной стоял бывший Обер-Гофмаршал Высочайшего Двора генерал-адъютант граф Бенкендорф.

Смущенный представляюсь ему и прошу извинить за мое не прощенное вторжение.

Услышав мое имя, граф успокаивается. Тушит примус и просит садиться, указывая рукой на небольшой диван с торчащей наружу пружинной.

Чувствую, что слезы начинают щипать мне глаза.

— Нет у меня ничего, все обобрали, — грустно говорит граф, все еще с опаской глядя на меня.

Как могу, стараюсь успокоить его.

— Вот хлопочу о выезде на родину в Прибалтийский Край, — да все не пускают. Ведь моя жена по первому браку Долгорукова, а сын ее с Государем в Екатеринбурге, — вот и боятся, что я с ними в связи.

Мне до боли стало жаль несчастного старика в этой нищенской, жалкой комнатке, после печета и блеска всесильного вельможи.

На прощанье показал он мне несколько серебряных риз от образов и попросил их продать. Дома не было ни крупы, ни хлеба.

В тот же вечер, продав их на лом, я поспешил принести деньги графу, прибавив от себя что мог из продуктов.

Рад он был этому безмерно.

Через месяц ему удалось выбраться за пределы России. Но судьба была жестока к нему.

Переехав границу, от радости или от недоедания гр. Бенкендорф, едва вступив на родную землю, скончался от разрыва сердца.



МОРСКОЙ МИНИСТР АДМ. ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ГРИГОРОВИЧ

Познакомились мы в морозное утро голодного Петербурга 20-го года, стоя в длинной очереди за постным маслом.

В бедно одетом в штаткое платье красивом старике, я сразу узнал адмирала, подошел к нему и представился.

Мы разговорились, и он рассказал мне, что в бытность свою начальником порта в «Порт-Артуре», он был на берегу беспомощным свидетелем гибели адмирала Макарова и моего дяди художника В. В. Верещагина на броненосце «Петропавловск», 31-го марта 1904 г.

После несчастной Японской войны, умный и высоко порядочный Григорович, назначенный Морским министром, энергично принялся за возрождение Российского флота, столь блестяще показавшего себя в Первую Мировую войну.

В начале революции, как и все царские министры, адмирал был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, откуда, по грозному требованию любивших и уважавших его матросов, был скоро освобожден и жил на свободе.

Совершенно одинокий, потерявший жену и единственную дочь, он часто бывал в моей семье и ежедневно приходил в «Дом Литераторов» на Бассейной улице, вместе с нами и с Вас. Ив. Немировичем-Данченко, хлебать похлебку из всякой дряни. Таково было страшное тогда время!

События разъединили нас, и уже в эмиграции мы с ним дружески встретились в Ницце, где после всех пережитых тяжелых лет, адмирал и скончался в преклонном возрасте.

ОТЪЕЗД ЖЕНЫ ЗАГРАНИЦУ

Мы оба, жена и я, твердо решили во что бы то ни стало выбраться из России за границу.

Одна из сестер жены жила в Ревеле. И вот к ней то я наметил сначала переправить жену с ее сыном (моим пасынком), а потом и перебраться самому.

Уж стало сильно чувствоваться ослабление террора. Начались сношения с Европой.

Кое-кто из знакомых, по преимуществу из тех, кто мог доказать свою принадлежность к полякам, литовцам, эстонцам и т. д. уже получили разрешение выезда за границу и заграничные паспорта. У меня же, как у чисто русского, не было никакой зацепки.

Кто-то надоумил сказать жене больной и проситься ехать лечиться.

Нашлись знакомые доктора (кого нужно, ублаговторили деньгами) и после нескольких медицинских комиссий жену, наконец, признали «тяжело больной» и назначили необходимое лечение на водах.

Какие «воды» в Ревеле, неизвестно, но только после двух месяцев хождений по разным комиссариятам, в Смольном выдали жене вместе с сыном паспорт на шестинедельную поездку в Эстонию.

Визу в эстонское консульство прислала из Ревеля сестра жены.

Ликованию нашему не было границ.

Спешно стали ликвидировать все наше скромное имущество и готовиться в дальнюю дорогу.

В конце мая 1922 года с женой, пасынком и

двумя чемоданами я уже трясся на ободранном извозчике, провожая их на Балтийский вокзал.

Тяжело было расставаться. Не знали увидимся ли когда-нибудь. Ни за один час не могли быть спокойны. Жена через сутки уже должна быть в безопасности, а ведь я оставался еще в «раю» да еще заложником.

Было над чем задуматься.

Но вот третий звонок. Поезд медленно трогается. В последний раз в окне мелькнуло дорогое заплаканное лицо жены.

Я остался один.



ВОСПОМИНАНИЯ МОСКОВСКОГО КРУПЬЕ

Была весна 1923 года.

НЭП начинал расцветать, но Петербург, еще не Ленинград, все еще не мог проснуться от тяжелого сна.

Жизнь замерла совсем, и кроме нескольких открытых наспех лавчонок, да старушек на пустых рынках торговавших пирожными собственного изделия, ничто не говорило о новых Ленинских начинаниях.

Другое дело Москва — средоточие всей жизни страны.

Правительственные учреждения, новорожденные тресты, заигрывание с Европой, привлекли множество людей, жаждущих деятельности и жизни.

Спекуляция процветала вовсю.

Рестораны, кафе, кабаре, разные увеселитель-

ные заведения и битком набитые товаром магазины раскрывали свои двери, стараясь перещеголять друг друга качеством и разнообразием.

Власть смотрела на все благосклонно даже поощряла.

В Петербурге делать было решительно нечего. Полагая, что в новой столице легче будет устроиться, чем в северной, я решил туда перекочевать.

Мои друзья О., полгода тому назад, переехали в Москву и звали к себе, обещая помочь в поисках занятий.

Самый тяжелый вопрос был квартирный.

О. жили впятером в одной подвальной комнате, куда я прямо с вокзала и ввалился.

Спали все на полу на тюфяках, которые на день сваливались в одну кучу.

Семья О. состояла из отца, прежнего сановника, матери и трех сыновей, правда гораздо моложе меня, но с которыми я был очень дружен и любил как братьев.

В комнате, кроме всех нас, еще жили «Зеро» — ласковый фокс и огромный петух, немилосердно будивший на заре весь дом.

Случай скоро помог мне в поисках.

Правительство решило открыть от себя клубы и игорные дома. Главенствовали рулетки.

Из-заграницы выписали опытных руководителей, рулеточные аппараты и все необходимое.

Рулеток было две. Помещались они в бывшем ресторане «Прага» и в Эрмитаже, в Каретном ряду.

В залах одновременно были поставлены столы для 30-е^т-40.

Во главе всего дела стоял небезизвестный бывший летчик А. А. Кузьминский — племянник графа Льва Толстого.

Для обслуживания этих учреждений понадобился большой штат служащих — преимущественно молодежи, на должности, крупье, наблюдателей, счетчиков и т. д.

Понятно, что я с двумя старшими братьями О. был в числе желающих, но пока еще не в числе попавших.

В доме отца А. А. Кузьминского, сенатора Кузьминского, я бывал еще ребенком.

Разыскав А. А. я напомнил ему о себе и просил содействия. Он отнесся очень сочувственно и не прошло и трех дней, как я сидел в качестве, сначала помощника, а затем и самостоятельным крупье в Эрмитаже.

Работа была нервная и чрезвычайно напряженная.

Всех нас крупье и их помощников было человек 30, чередовавшихся между собой.

Начальствовал над нами некий Бурлин, свиду типичный провинциальный шулер.

Лет 50-ти, косоглазый с рыжими бачками он производил отталкивающее впечатление.

Полицейский служащий в прошлом он обладал особенным нюхом все видеть и слышать.

Сразу же мы не взлюбили друг друга и он не упускал случая, чтобы не нагрубить и напакостить мне, где только мог.

Какая-либо заминка или недоразумение за моим

столом, он уже тут как тут с вечным окурком сигары в зубах.

Удивительная вещь! Ни разу за все три месяца моей работы я не видел у него во рту целой сигары.

Собирались мы в клуб к 10 часам вечера и работали до 1-2 час. ночи.

Поставлено дело было довольно примитивно, но и тут Государственное Управление не забыло себя.

Рулетки были сделаны по особому заказу с двумя зеро, весь выигрыш которых шел в доход клуба, а кроме того обе лунки зеро были чуть шире остальных номеров.

Но жажда игры была так велика, что на эти «мелочи» никто не обращал внимания.

В других залах, открытых до утра, играли в железку и баккара.

Игра велась весьма крупная и на всевозможную валюту.

Крупье в карточных зарабатывали с банков бешенные деньги, тогда как мы — рулетчики и на 30-et-40, были на фиксе и получали 3-5 червонцев в неделю и кроме того кормились изредка «добровольными приношениями» счастливых игроков.

Публики бывало масса.

Женщины допускались тоже и они, особенно страстно, душою и телом погружались в азарт.

Часов в 7-8 утра, после закрытия клуба, к подъезду подъезжал блиндированный автомобиль.

В него сносились корзины, доверху заваленные червонцами, английскими фунтами, долларами и прочей иностранной валютой всего мира.

Все это богатство под сильной охраной воору-

женных с ног до головы чекистов отвозилось в казначейство.

Случалось, после окончания игры в рулетку, и сдав в главную кассу всю наличность, заглянуть из любопытства в карточные залы.

Так как нам служащим играть самим было строжайше запрещено под страхом немедленного увольнения, то приходилось ограничиваться только ролью скромного наблюдателя человеческих страстей.

Одна из таких ночей ярко запечатлелась в моей памяти.

Часа 3 ночи. В громадном высоком зале от едкого табачного дыма и разгоряченной разношерстной толпы трудно дышать.

Преобладают мужчины комиссарского типа в кожаных куртках.

Шум стоит великий.

За каждым столом, вооруженные длинными полированными лопатками, на своих возвышениях, как изваяния, застыли крупье.

Они зорко следят за ставками и должны быстро и верно рассчитывать.

Среди них много из «бывших».

За ближайшим столом вижу моего приятеля лицеиста и музыканта Прозоровского.

На другом выделяется породистая голова красавца князя Николая Карагеоргиевича. Он служил в русской Армии и только в 24 год. выбрался за границу.

Бедняге и здесь не повезло. По династическим условиям, лишенный родной Сербии он спился и бесславно покончил с собой в Ницце.

Но вернемся к играющим.

В углу один стол тесным кольцом окружила толпа народа.

Я с трудом протискиваюсь к самому столу.

Держит банк голубоглазый блондин — из комиссаров.

Лицо красное, потное, курчавые волосы сбиты копной.

Раздавая правой рукой карты он левой нервно прижимает объемистую пачку крупных червонцев.

Крупье лакированной лопаткой придерживает банк — большую пеструю кучу всевозможной валюты.

Замечаю несколько бумажек в 100 долларов.

Блондин — счастливчик — бьет целый вечер карту за картой.

Но вот счет ставкам кончен. Карты даны.

Все взоры устремлены на противника, высокого, худого, прыщавого кавказца.

Его большая ставка, а следовательно и его рука.

Он медленно шевелит картами, испытывая общее терпение.

— Да открывайте же, — кричат ему.

— Подожди, успеешь проиграть, — гортанным голосом сердито огрызается он и медленно тянет первую карту и вдруг порывисто выбрасывает на стол восьмерку и короля треф.

У блондина чистый жир.

Десятки рук в мгновение растаскивают весь банк.

Банкомет вскакивает и, схватив дрожащими руками свои червонцы, направляется к другому столу искать счастье.

Кое-кто следует за ним.

Но увы! Счастье изменчиво.

Через час у него не остается ни одной бумажки и безнадежно обшарив все карманы он встает из-за стола и пошатываясь отходит в сторону к окну.

Быстро выхватывает из под куртки наган, стреляет себе в висок и как подкошенный валится на пол.

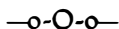
Публика, директора, служащие и целая стая снующих в зале чекистов бросаются к нему.

Но он уже перестал дышать и только кровь широкой струей бежит по заплеванному паркету.

Стянув покрышку с пустого стола, кое-как прикрывают безжизненное тело и выволакивают в ближайšie двери.

Игроки возвращаются к своим столам.

Игра продолжается!



ПАСПОРТ И ВИЗЫ

Жизнь в Москве была много легче и свободнее, чем в Петербурге.

Спекулировали всем, чем угодно и все, начиная с комиссаров и кончая последним обывателем. Да и запуганности было меньше.

Помню, как я совершенно свободно ходил в небольшой скверик недалеко от Кремля, кишевший продавцами валюты, каковую можно было достать в неограниченном количестве.

За свои червонцы получал я американские доллары.

Приблизительно на третий месяц моей жизни в Москве получил я от жены из Берлина в простом письме — визу в Германию (в Киссинген) и с той

минуты стал деятельно готовиться к своему отъезду.

Те немногие мои друзья, которых я посвятил в свои планы, относились к ним весьма скептически и всячески убеждали меня бросить «паспортные» хлопоты и пугали могущими народиться неприятными для меня последствиями.

Но желание выбраться из России было так велико, что все разговоры только еще больше разжигали мою энергию.

Увы все мои хлопоты не привели ни к чему и в выдаче официального паспорта мне было категорически отказано.

Надо было искать иных путей.

И вот, в конце концов — всеми правдами и особенно неправдами и, весьма опасными — в моих руках оказалась долгожданная паспортная книжка. Но выбирать не приходилось. Или рискнуть спасаться, или ждать неизбежного ареста и, в лучшем случае, ссылки в Соловки или Нарым.

Г.П.У. тихо, но верно добиралось до всех. Одна надежда была, что ввиду массы уезжающих, как частных лиц, так и коммунистов в разные заграничные командировки, все не так скоро раскроется и я сумею счастливо проскочить.

Храбро отправляюсь в немецкое посольство, что находилось в Леонтьевском переулке.

Там уже Европа. Все чисто, все блестит. Чиновники в ослепительном белом и в безукоризненно сшитом платье.

Заведующий визами толстый немец встретил меня довольно грубо. За право получить на паспорт въездную визу в Германию, даже на основании визы, присланной из Берлина, требуется залог

в 500 рублей (как залог моего временного пребывания в Германии) и обещают вернуть деньги по возвращении. Такой суммы мне не снилось и во сне. Ни просьбы, ни мольбы ни к чему не ведут. А на мой вопрос, нельзя ли как-нибудь это правило обойти, немец на плохом русском языке сердито восклицает:

— Это не Россия, а Германия и закон есть закон.

— Ну, ладно, — думаю я, — а все-таки я тебя надую, и злой выхожу на улицу.

Проходит дня три. Иду я по Кузнецкому мосту и натыкаюсь на давно забытого знакомого — Соловьева. Служил он когда-то по Министерству Иностранных дел и добрался в свое время до крупных постов.

Вот, кто мне поможет, мелькнула у меня мысль, и я радостно бросаюсь к нему здороваться.

На мое счастье Соловьев приятель первого секретаря посольства и любезно соглашается дать к нему письмо.

На следующий день, вооружившись драгоценной бумажкой, опять иду в Леонтьевский переулок и через швейцара передаю письмо по назначению.

Не успел я присесть и оглядеться, как выбегает эlegantный молодой господин, читая на ходу мое письмо. Подходит ко мне, жмет руку и любезно обещает сделать все необходимое, затем, тут же в швейцарской, размашистым почерком что-то долго пишет поперек того же письма.

Окончив писать опять жмет мне руку и велит швейцару проводить в паспортный отдел.

Принимает меня тот же толстый немец и так же сурово, но, прочтя поданное ему мною письмо,

моментально меняется и чрезвычайно предупредительно ставит мне на паспорт визу, взяв за нее какие-то пустяки.

Как я потом узнал, секретарь ручался за мое возвращение. Очевидно — был наивнейший и добрейшей души человек!

Все было кончено! Предстоял отъезд.

—о-О-о—

ОТЪЕЗД ИЗ МОСКВЫ

Прожил я в Москве пять месяцев. Из них почти 4 проработал в Клубе.

Всякими правдами и неправдами накопилась небольшая сумма денег — червонцев, которые я все и обменял на доллары. Всего было у меня их 70.

Жил я все время у О., за комнату ничего не платил, а на еде экономил, как мог.

Вставал вопрос с одеждой.

В России ходили в чем попало, а я лично таким оборванцев, что просто становилось стыдно за себя.

Ну, как показаться в Европу в рваных сапогах, из которых торчат пальцы. Единственный пиджак засален донельзя и брюки весьма красноречиво протерлись, где следует.

Не знаю, как теперь, но в те времена в Москве костюм стоил до 3-х тысяч на франц. франки, т. е. 120 долларов.

Решил ехать в чем был, надеясь в Берлине у сестры, к которой я ехал, слегка приодеться.

Списавшись с матерью, которая жила в Петер-

бурге, я просил ее заказать мне заранее билет 3-го класса на один из пароходов Петербург-Штетин.

Путь этот был самый удобный. Во-первых, дешевый, а затем не требовалось никаких добавочных виз, Эстония, Латвия, Польша и т. д. Билет же на пароход обходился в 20 долларов.

В клубе жалованье платили каждое пятое и двадцатое число и платили почему-то за две недели всегда вперед.

Пароход мой отходил 29 сентября и я, дотянув службу в Клубе до 20-го, получив деньги в тот же вечер, сказавшись больным, незаметно сел в поезд и уехал в Петербург.

Милого Кузьминского я посвятил в свой побег и он обещал все устроить, чтобы мое отсутствие возможно дольше прошло бы незамеченным.

Пароход задержался на четверо суток и я дни ожидания провел в страхе и волнении. Все казалось, что откроется мой подлог или хватятся в клубе.

Наконец, настал канун отъезда. Не спал я всю ночь и все прислушивался не подъехал ли автомобиль, чтобы меня арестовать.

Ровно в 12 назначено было отплытие, но уже в 10 часов сажусь с матерью на извозчика и еду к Николаевскому мосту. Там стоял пароход. Вешей со мной — один небольшой чемодан, перемена белья и связка нот. Лишнего взять не мог, даже фотографий, которых у меня была громадная коллекция, как семейных, так и исторических, принадлежавших еще моему отцу.

Еще рано. На пристани народу немного.

Прохожу прямо в таможню. Чиновники, как видно по их опыту, из старых «таможников» толь-

ко мельком взглянули на мой тощий багаж и с миром отпустили меня.

Настает минута самая страшная — проверка паспортов. Высокий, седой военный в зеленой фуражке с малиновым верхом внимательно проглядывает мой паспорт и, не найдя ничего подозрительного, ставит печать с датой отъезда.

Как будто гора свалилас: с плеч, а что, если вдруг из Москвы пришла телеграмма: «Арестовать Верещагина и препроводить в Москву».

Дрожащей рукой мать крестит меня и прижимает к сердцу. Увидимся ли когда?

С тоской вырываюсь из ее объятий и не оглядываясь бегу к пароходу.

Пароход немецкий — я уже на германской территории!

—o-o-o—

НА ПАРОХОДЕ

Внизу, почти у трюма, разыскиваю свою каютку. Она на четырех человек. Над одной из коек нахожу билетик с моей фамилией, написанной по-немецки.

Оставляю вещи и выхожу на палубу.

Пассажиры все прибывают и, освободившись от таможи, нагруженные вещами, тянутся к пароходу.

Отойти мы должны ровно в 12, но давно прошел условный час, пассажиры все на местах, а мы все стоим и стоим.

Я хожу по палубе и нервничаю. Скорей бы уж тронуться.

Устав ходить, спускаюсь в буфет закусить, но, едва я расположился, слышу кричат мою фамилию. Я так весь и похолодел. Ну, конец. Уже мерещится арест, ссылка и всякие ужасы.

Зовут все сильнее. Полуживой вылезаю наверх.

Оказывается, мать, узнав, что пароход еще не ушел, пришла еще раз взглянуть на меня.

Сознаюсь, крепко я был в тот миг сердит на нее.

На пароход провожающих никого не пускали и она стоит в 10-ти шагах от меня.

Но вот у таможни, наконец, показывается странная процессия. Впереди таможенные служащие несут 5-6 больших сундуков, а за ними, предшествуемые седым военным, двое красноармейцев ведут шатающуюся старую даму.

Волосы растрепаны, платье в беспорядке.

Публика столпилась у сходней и с любопытством наблюдает..

Ни на кого не глядя, охая и кряхтя, дама спускается вниз и вместе с своими сундуками запирается у себя в каюте.

Как потом я узнал, это была богатая вдова известного банкира Рафайловича.

Получив разрешение на выезд, она явилась в таможню со всем своим многочисленным багажом и на вопрос чиновников заявила, что запрещенного у нее ничего нет. Открыли наугад один сундук.

Первое, что в нем лежало — небольшая подушечка-думка. Чиновник взяв ее в руки, был удивлен ее тяжестью. Вскрыли и там оказались пачки царских денег. Другие сундуки были полны дра-

гоценными мехами, отрезами материй и дюжинами тончайшего шелкового белья. Глубоко внутри были рассованы футляры с драгоценностями.

Очевидно, у старухи ум за разум зашел от радости выбраться за границу и она надеялась, что все удастся провезти.

Вероятно, осматривала ее вся таможня и до последней нитки. В волосах на голове нашли бриллианты и длинные нитки жемчуга. Половину вещей отобрали, но все-таки много пропустили, так что в пути она еще откуда-то все вытаскивала всякие кольца и брошки.

Не могу понять, как ее не арестовали. Разве, что сжалились над ее 70 годами.

Благодаря ей, отъезд задержался и только в 7 часов вечера загудел и тронулся пароход.

Медленно проплыла мимо набережная, в последний раз мелькнуло лицо матери и ее рука, часто-часто крестившая меня издали.

Но вот и берег и мама становятся все меньше и меньше и, наконец, исчезают совсем в осенних сумерках.

Прощай Петербург, — на долго ли?

—o-O-o—

КРОНШТАДТ

Идем морским каналом. Он делается все шире и шире и, наконец, сливается с угрюмым мрачным взморьем.

Почти темно. Петербург тонет в сплошном тумане. На душе жутко и беспокойно.

Самое страшное впереди. Кронштадт — послед-

ний этап, где еще царствует Г.П.У. и часто бывало, что после проверки паспортов кое-кого из пассажиров арестовывали и отсылали обратно в Петербург.

Ярко освещенная столовая полна народу. Все, преимущественно иностранцы, спокойно обедают за небольшими круглыми столами.

Мне не до еды. Как зверь в клетке, хожу я по палубе, кутаясь в пальто от резкого морского ветра.

Часам к 10 приходим в Кронштадт и останавливаемся на внутреннем рейде. Стоим полчаса, стоим час — никого нет. Почти все пассажиры собрались в салоне в ожидании проверки документов. Настроение у всех подавленное. Даже иностранцы как-то притихли.

Наконец, входит помощник капитана и объявляет, что ввиду нашего запоздания и прихода в Кронштадт после 9 часов, порт уже закрыт и пароход выйти в море может только на следующий день утром, утром же будет и визит Г.П.У.

Пассажиры молча расходятся по своим каютам.

Я остаюсь один. Нервы напряжены до крайности. Где же тут до сна? Выбираю укромный уголок, ставлю плетеное кресло и усаживаюсь, вытянув ноги. Кругом все замирает. Проходит с полчаса. Сквозь полудрему слышу, как на пароходе кто-то зашевелился, быстро вскакиваю и подхожу к борту.

Кругом темно — зги не видно. Со стороны крепости мелькает огонек, который быстро приближается к нам. Слышен и шум мотора. Все ближе и ближе и, наконец, небольшой слабо освещенный катер останавливается около самого борта.

Капитан, его помощник и несколько матросов спускают трап и я вижу, как по нем поднимаются четверо с ног до головы вооруженных чекистов.

Любезно приветствуемая капитаном, вся компания скрывается в капитанской каюте. До нее — рукой подать. Тусклый свет чуть-чуть пробивается сквозь тщательно спущенные занавески.

Тихо, боясь быть замеченным, обхожу кругом рубку и на мое счастье нахожу небольшую щелочку, к которой с любопытством и приникаю глазом.

Посредине каюты — большой стол, накрытый белой скатертью, уставленный всевозможными закусками и целой батареей бутылок коньяку. Вижу, как капитан угощает почетных гостей. Один из них маленький, в кожаной фуражке, из-под которой торчат лихие кудри, захватив с собой стакан и бутылку, усаживается отдельно за небольшой столик. Капитан наваливает ему грудку пассажирских паспортов и чекист, вооружившись печатью, приступает к проверке документов.

Мне через мою щелку все видно, как на ладони.

Совершенно механически, не читая, колотит он печатью по книжкам, откидывая в сторону отмеченные.

Затаив дыхание, жду свою. Так же, не глядя, стучит чекист штампом и бросает в общую грудку.

Но вот «проверка» закончена. Коньяк и закуска тоже.

Захватив с собой по бутылочке, начальство тем же путем, но теперь уже несколько неуверенно спускается в катер и отваливает.

Рванула сирена и пароход, слегка покачивая, выходит в море, в царство молочного тумана.

Совсем успокоенный, но с болью на сердце спускаюсь вниз в свою каюту.

Начиналась жизнь на чужбине.



ACHEVE D'IMPRIMER
SUR LES PRESSES DE
LA SOCIETE D'IMPRIMERIE
PERIODIQUES ET D'EDITION
EN FEVRIER 1969
